

Российский государственный гуманитарный университет
Russian State University for the Humanities



RSUH/RGGU BULLETIN
№ 2 (11)

Academic Journal

Series:
History. Philology. Cultural Studies.
Oriental Studies

Moscow
2016

ВЕСТНИК РГГУ
№ 2 (11)

Научный журнал

Серия
«История. Филология. Культурология.
Востоковедение»

Москва
2016

Редакционный совет серий «Вестника РГГУ»

Е.И. Пивовар, чл.-кор. РАН, д-р ист. н., проф. (председатель)

Н.И. Архипова, д-р экон. н., проф. (РГГУ), А.Б. Безбородов, д-р ист. н., проф. (РГГУ), Е. Ван Поведская (Ун-т Сантьяго-де-Компостела, Испания), Х. Варгас (Ун-т Валле, Колумбия), А.Д. Воскресенский, д-р полит. н., проф. (МГИМО (У) МИД России), Е. Вятр (Варшавский ун-т, Польша), Дж. Де Барделебен (Карлтонский ун-т, Канада), В.А. Дыбо, акад. РАН, д-р филол. н. (РГГУ), В.И. Заботкина, д-р филол. н., проф. (РГГУ), В.В. Иванов, акад. РАН, д-р филол. н., проф. (РГГУ; Калифорнийский ун-т Лос-Анджелеса, США), Э. Камия (Ун-т Тачибана г. Киото, Япония), Ш. Карнер (Ин-т по изучению последствий войн им. Л. Больцмана, Австрия), С.М. Каштанов, чл.-кор. РАН, д-р ист. н., проф. (ИВИ РАН), В. Кейдан (Урбинский ун-т им. Карло Бо, Италия), Ш. Кечкемети (Национальная школа хартий, Франция), И. Клюканов (Восточный Вашингтонский ун-т, США), В.П. Козлов, чл.-кор. РАН, д-р ист. н., проф. (РГГУ), М. Коул (Калифорнийский ун-т Сан-Диего, США), Е.Е. Кравцова, д-р психол. н., проф. (РГГУ), М. Крэммер (Гарвардский ун-т, США), А.П. Логунов, д-р ист. н., проф. (РГГУ), Д. Ломар (Ун-т Кёльна, Германия), Б. Луайер (Французский ин-т геополитики, Ун-т Париж-VIII, Франция), В.И. Молчанов, д-р филос. н., проф. (РГГУ), В.Н. Незамайкин, д-р экон. н., проф. (Финансовый ун-т при Правительстве РФ), П. Новак (Белостокский гос. ун-т, Польша), Ю.С. Пивоваров, акад. РАН, д-р полит. н., проф. (ИНИОН РАН), С. Рапич (Ун-т Вупперталя, Германия), М. Сасаки (Ун-т Чуо, Япония), И.С. Смирнов, канд. филол. н. (РГГУ), В.А. Тишков, акад. РАН, д-р ист. н., проф. (ИЭА РАН), Ж.Т. Тощенко, чл.-кор. РАН, д-р филос. н., проф. (РГГУ), Д. Фоглсонг (Раггерский ун-т, США), И. Фолтз (Опольский политехнический ун-т, Польша), Т.И. Хорхордина, д-р ист. н., проф. (РГГУ), А.О. Чубарьян, акад. РАН, д-р ист. н., проф. (ИВИ РАН), Т.А. Шаклеина, д-р полит. н., канд. ист. н., проф. (МГИМО (У) МИД России), П.П. Шкаренков, д-р ист. н., проф. (РГГУ)

Серия «История. Филология. Культурология. Востоковедение»

Редакционная коллегия серии

Е.И. Пивовар, гл. ред., чл.-кор. РАН, д-р ист. н., проф. (РГГУ), А.Б. Безбородов, зам. гл. ред., д-р ист. н., проф. (РГГУ), С.И. Гиндин, зам. гл. ред., канд. филол. н., доц. (РГГУ), Г.И. Зверева, зам. гл. ред., д-р ист. н., проф. (РГГУ), И.С. Смирнов, зам. гл. ред., канд. филол. н. (РГГУ), П.П. Шкаренков, зам. гл. ред., д-р ист. н., проф. (РГГУ), М.Л. Андреев, д-р филол. н. (РГГУ; ИМЛИ РАН), Т.Г. Архипова, д-р ист. н., проф. (РГГУ), Н.И. Басовская, д-р ист. н., проф. (РГГУ), А.Г. Васильев, канд. ист. н., доц. (РГГУ), В.И. Дурновцев, д-р ист. н., проф. (РГГУ), Е.Е. Жигарина, канд. филол. н. (РГГУ), С.В. Карпенко, канд. ист. н., доц. (РГГУ), В.Ф. Козлов, канд. ист. н., доц. (РГГУ), И.В. Кондаков, д-р филос. н., канд. филол. н., проф. (РГГУ), М.А. Кронгауз, д-р филол. н., проф. (РГГУ; РАНХиГС); Г.Н. Ланской, д-р ист. н. (РГГУ), Д.М. Магомедова, д-р филол. н., проф. (РГГУ; ИМЛИ РАН), Ю.В. Манн, д-р филол. н., проф. (РГГУ; ИМЛИ РАН), И.Г. Матюшина, д-р филол. н. (РГГУ), А.Н. Мещеряков, д-р ист. н., проф. (РГГУ), С.Ю. Неклюдов, д-р филол. н., проф. (РГГУ), Е.В. Пчелов, канд. ист. н., доц. (РГГУ), Н.И. Рейнгольд, д-р филол. н., проф. (РГГУ), Р.И. Розина, д-р филол. н. (РГГУ; ИРЯ РАН), Н.Р. Сумбатова, д-р филол. н. (РГГУ), Я.Г. Тестелец, д-р филол. н., проф. (РГГУ), В.И. Тюпа, д-р филол. н., проф. (РГГУ), П.Ю. Уваров, чл.-кор. РАН, д-р ист. н., проф. (РГГУ; ИВИ РАН), В.И. Уколова, д-р ист. н., проф. (РГГУ; МГИМО (У) МИД РФ), А.С. Усачев, д-р ист. н., доц. (РГГУ), И.О. Шайтанов, д-р филол. н., проф. (РГГУ), А.Л. Юрганов, д-р ист. н., проф. (РГГУ), С.А. Яценко, д-р ист. н., проф. (РГГУ)

Ответственный за выпуск: Г.И. Зверева, д-р ист. н., проф. (РГГУ)

СОДЕРЖАНИЕ

Исследования по теории культуры

И.В. Кондаков

Культурное наследие: действительное и мнимое 9

Б.В. Рейфман

Отношения между визуальным бессознательным
и мирозозидающими структурами смысла
как развивающийся концепт 17

Культурно-исторические исследования

Д.И. Антонов

Эфиопы, темнозрачные, синьцы:
бесовской ономастикон древнерусских текстов 27

И.М. Чирскова

Власть и культура в России в первой четверти XVIII в.:
у истоков культурной политики 40

С.А. Савицкий

Преобразование Царскосельского парка
в парк культуры и отдыха в 1930-х годах 58

А.В. Стогова

Политик как друг: конструирование политических дискурсов
в Британии XVII века 70

С.А. Еремеева

Отношение к смерти как социокультурный маркер 87

Визуальные исследования

Е.И. Нестерова

Бэнси: говорящие звезды немого кино 96

<i>Г.А. Шматова</i> Активизация зрителя в современном театре: семиотический и перформативный аспекты	106
--	-----

Исследования субкультур

<i>Н.С. Галушина</i> Субкультуры: языки описания в меняющихся социокультурных контекстах	120
--	-----

<i>С.Г. Давыдов, О.С. Логунова</i> Потребление сервисов мобильной телефонии в российском южном селе	136
---	-----

<i>В.Н. Мерзлякова</i> Репрезентация статуса пользователей социальных сетей – язык, опыт, стратегии	148
---	-----

Abstracts	158
-----------------	-----

Сведения об авторах	163
---------------------------	-----

CONTENTS

Culture theory studies

I. Kondakov

Cultural heritage: actual and imaginary 9

B. Reifman

The relationship between the visual unconscious and the world-building structures of meaning as a concept in development 17

Cultural and historical studies

D. Antonov

Ethiopians, the dark and livid fiends:
the demoniac onomasticon of the Old Russian texts 27

I. Chirskova

The power and culture in Russia in the first quarter of the XVIII:
at the origins of cultural policy 40

S. Savitsky

A transformation of the Tsarskoe Selo's park
into the culture and recreation park in 1930s 58

A. Stogova

A politician as a friend: the construction of political discourses
in Britain of the XVII century 70

S. Eremeeva

An attitude towards the death as a socio-cultural marker 87

Visual studies

E. Nesterova

Benshi: silent movie speaking stars 96

<i>G. Shmatova</i> An activation of the spectator in contemporary theatre: semiotic and performative aspects	106
--	-----

Subcultures studies

<i>N. Galushina</i> Subcultures: description languages in the changing socio-cultural contexts	120
--	-----

<i>S. Davydov, O. Logunova</i> Mobile telephony services in Russia's southern village	136
--	-----

<i>V. Merzlyakova</i> The representation of social networks' users status – the language, experience, strategy	148
--	-----

Abstracts	158
-----------------	-----

General data about the authors	165
--------------------------------------	-----

И.В. Кондаков

КУЛЬТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ: ДЕЙСТВИТЕЛЬНОЕ И МНИМОЕ

В статье обсуждается содержание многосоставного исторического понятия «культурное наследие». Культурное наследие рассматривается в теоретическом плане как архитектоника разных смысловых слоев: актуального, потенциального, «снятого» наследия и «архива» наследия.

Ключевые слова: культурное наследие, актуальное наследие, потенциальное наследие, «снятое» наследие, «архив» наследия, глубина культурного наследия.

Культурное наследие в каждую историческую эпоху существует как архитектоника четырех (как минимум) смысловых слоев (сверху вниз): актуального, потенциального, «снятого» наследия и «архива наследия»¹.

Актуальное наследие находится на поверхности реальной культуры и постоянно востребовано современниками (их большинством); *потенциальное наследие* располагается в глубине культурной памяти и «всплывает» на поверхность, когда обращение к актуальному культурному наследию оказывается недостаточным. Потенциальное наследие представляет собой глубинные структуры культуры и может быть названо культурным «подсознанием» эпохи. *Снятое* наследие целиком принадлежит прошлому, являясь, с точки зрения современности, явным анахронизмом; оно, как правило, становится предметом специального (например, научного или философского) изучения; реже – художественной стилизации (в «Докторе Живаго» Б. Пастернака, «Поэме без героя» А. Ахматовой, «Дне опричника» В. Сорокина и др.) как знаки прошедшего времени. Наконец, на самом «дне» культурной памяти находится

архив наследия, практически невостребованный, непонятый, забытый, нуждающийся в научной реконструкции и переосмыслении (таковы, к примеру, все тексты древнерусской культуры, включая даже самый известный, – «Слово о полку Игореве»).

Однако наряду с этими четырьмя слоями культурного наследия, смысловая определенность которых убывает по мере удаления от современности, есть еще и пятый, «невидимый» и как бы несуществующий, «нулевой» слой смыслов и культурных значений, впрочем, нередко выступающий на передний план восприятия и оценки. Это – «мнимое наследие», располагающееся в культуре как бы «по ту сторону» от наследия действительного, в другой смысловой плоскости по сравнению с действительностью (гипотетической, неверифицируемой).

Каждый, кто помнит книгу о. П. Флоренского «Мнимости в геометрии»², понимает, что мнимые явления можно обнаружить не только в математике, а обсуждение проблем мнимости в различных сферах ведет к углублению представлений о реальности, особенно реальности противоречивой, многослойной, текучей, трудно и неоднозначно рефлекслируемой. П.А. Флоренский связывал мнимости с истолкованием функций переменных, в том числе приводящим к утверждениям, лежащим «вне возможности проверки»³.

Особую актуальность сегодня приобретает осмысление *мнимостей в культуре*, поскольку различение действительных и мнимых культурных ценностей в современном мире и культурном наследии особенно сложно⁴.

Мнимости в культуре возможны различного порядка. Прежде всего культурными мнимостями следует считать никогда не существовавшие артефакты культуры. Например, никогда не существовала «Велесова книга» как памятник древнерусской языческой словесности VI–VIII вв. Точно так же никогда не происходили события, реконструируемые с помощью «Новой хронологии» А.Т. Фоменко и Г.В. Носовского. Не существует 26-й симфонии Малера (розыгрыш Г.Н. Рождественского), романов Достоевского «Атеист» и «Дети» (неосуществленные замыслы писателя), второго тома «Мертвых душ» Гоголя (сожженного автором), «Хазарского словаря» как исторического документа или научного труда (известного только как роман М. Павича). Это – мнимости, так сказать, *онтологические*.

Подобные (но не тождественные) мнимости часто возникают в проблемном поле культуры в результате некритического отношения к источникам и антиисторизма исследователя, приписывающего деятелю культуры участие в событиях, к которым он

не имел и не мог иметь никакого отношения (пространственно, хронологически, по жизненным обстоятельствам, идейно и т. п.); знание информации, которым он не обладал; убеждения, которых у него не было, т. е. изымающего его из его культурно-исторического контекста и помещающего в иной, ему чуждый.

Так, было бы ошибкой видеть Пушкина провозвестником «Великого Октября» на том основании, что он написал: «Октябрь уж наступил...» и «на обломках самовластья напишут наши имена», а Л. Толстого – упрекать в незнании основ марксизма и невнимательном прочтении ленинской статьи «Лев Толстой как зеркало революции», из которой писатель не почерпнул никаких уроков для себя и своего творчества. Эти мнимости культуры можно назвать *гносеологическими*, связанными с аберрацией исторического взгляда.

Третьего рода мнимости в культуре имеют место в процессе творчества. Создание *инновативных* ценностей и смыслов – непривычных, выламывающихся из принятой парадигмы как содержательно, так и формально, вольно или невольно ставит эти смыслы и ценности в ряд не столько актуальных значений культуры, сколько потенциальных, невольно обрекая самые новые и новаторские произведения на почти неизбежное непризнание, подчас резкое и длительное. К сожалению, лишь время истории культуры, притом довольно продолжительное, может подтвердить или опровергнуть статус мнимости или действительности этих смысло-ценностей культуры.

В. Хлебников и О. Мандельштам, С. Прокофьев и А. Шнитке, В. Кандинский и П. Филонов, Вс. Мейерхольд и А. Тарковский, как и многие другие новаторы долго ждали своего места в русском и мировом искусстве XX века. Можно привести массу примеров подобной недооценки инноваций и в других областях культуры – науке, технике, философии. Мнимости в культуре, связанные с резким ценностно-смысловым «опережением» творца своих реципиентов, можно назвать *эвристическими*. Парадоксы художественного новаторства объясняются тем, что создаваемые инновативные ценности изначально принадлежат не к актуальному, а к потенциальному уровню наследия и лишь в процессе последующей адаптации, нередко весьма длительной, постепенно актуализируются и отчасти входят в состав актуального наследия.

Четвертый тип мнимостей в культуре, напротив, связан не с проблемой новаторства, а с проблемой *эпигонства*. Сколько ценностей культуры, поначалу представлявшихся яркими и значительными, впоследствии оказались ничтожными, подражательными,

вторичными, пустыми... Тем чаще творцы подобных произведений старались всеми силами добиться успеха и признания, не пренебрегая при этом самыми низкими и примитивными, но эффектными и результативными средствами.

Триумф у публики современников Пушкина – В. Бенедиктова, Ф. Булгарина, Н. Кукольника, А. Марлинского, М. Загоскина, О. Сенковского и других – до сих пор необъясним, но «мнимость» их творчества сегодня не вызывает сомнений, несмотря на былую популярность. Балетная музыка Л. Минкуса, которого П. Чайковский, его современник, называл «площадным музыкантом», пользовалась гораздо большей популярностью, чем самого Чайковского, да и сейчас «Дон-Кихот» как балет многими предпочитается «Лебединому озеру». Стихи Э. Асадова до сих пор переиздаются огромными тиражами под рубрикой «Великие поэты» – рядом с А. Блоком, А. Ахматовой, С. Есениным, М. Цветаевой, В. Маяковским...

Парадоксальную популярность эпигонского искусства можно объяснить тем, что в нем ценности «снятого» наследства (общеизвестные, испытанные, традиционные) представляются как вечные, а вместе с тем и всегда актуальные. Узнаваемые формулы, образы, сюжеты, мотивы, находящиеся на поверхности восприятия, не требуют погружения в исторический контекст культурного наследия, создавая иллюзию ясности и простоты.

Современная массовая культура буквально переполнена *эпигонскими* мнимостями во всех видах творчества, жанрах и стилях. Недолговечность их популярности, хрупкость успеха и противоречивость оценок в общественном мнении – характерный симптом мнимости этих явлений. Даже лучшие произведения и авторы популярной культуры подтверждают, что критерии новаторства неприменимы к ним. Поэтому такие композиторы, как Т. Хренников, В. Соловьев-Седой, Н. Богословский, А. Островский, А. Пахмутова, А. Бабаджанян, А. Зацепин, Д. Тухманов известны исключительно благодаря своим популярным песням, а не своим «большим» и «серьезным» опусам.

Одной из важных причин широкого распространения мнимых произведений литературы и искусства является принципиальное неразличение огромным большинством реципиентов современной культуры *художественности* и *информативности*, а вместе с тем и искусства и документа, с одной стороны, искусства и его суррогата, китча – с другой. Эстетическое содержание текстов культуры незаметно замещается то сенсационностью, то спекулятивной актуальностью, то модой, то популярностью, то нормативностью. Исключения из этих правил редки («Блокадная книга» А. Адамовича и

Д. Гранина⁵, документальные повести С. Алексиевич, удостоенной в 2015 г. Нобелевской премии по литературе).

Пятый тип мнимостей относится к числу *спекулятивных*. Все разновидности рекламы и саморекламы, того, что сегодня называется PR, порождают эффект искусственного раздувания ценности, смысла и значения тех или иных культурных явлений, которые в результате кажутся крупнее и значительнее, нежели являются фактически. Цели манипуляций с общественным сознанием и потенциальной аудиторией могут быть различными; чаще всего манипуляторами преследуются цели достижения успеха – прежде всего коммерческого («раскрутка» товаров и «звезд», рейтинг популярности, получение прибыли, опережение конкурентов и т. п.), далее – агитационно-пропагандистского (социальный, политический и др. имидж), психологического (личностное самоутверждение), продвижение и утверждение тех или иных теорий и концепций (нередко тенденциозных, а подчас и лженаучных).

В любом случае мнимая ценность того или иного спекулятивного явления культуры предопределяется целенаправленным применением соответствующих манипулятивных технологий, а не свойствами самих явлений культуры, вокруг которых совершаются манипуляции. Речь идет о том, что любая культурная ценность может быть создана лишь благодаря умелому применению соответствующего инструментария и оптимальных технологий, а ее реальное содержание (например, культурно-историческое значение) не играет никакой роли в этом процессе.

Парадоксальность культурного наследия состоит в том, что названные пять типов мнимостей представляют собой единое пространство и постоянно пересекаются между собой, являясь взаимодополнительными факторами. Так, онтологические мнимости нередко сочетаются с гносеологическими, эвристические мнимости в своем противостоянии мнимостям эпигонским постоянно вступают с ними в диалог, передвигая акцент то в одну сторону, то в противоположную. Мнимости спекулятивные, как «шлейф», сопровождают все четыре предшествующих типа мнимостей культуры, то усиливая, то ослабляя ценность каждой из них, создавая вокруг них особый ценностно-смысловой «ореол». Более того, и вообще мнимости культуры, как правило, существуют как своеобразный интерпретативный «ореол» вокруг действительных ценностей культуры, постоянно сопровождая последние.

В процессе сохранения культурного наследия постоянно встает вопрос о том, что в наследии является действительным и мнимым; каковы критерии и принципы их различения и отделения одного от

другого; «от какого наследства мы отказываемся» и почему; что в наследии нужно охранять и спасать, а что – критиковать, изменять и уничтожать (например, в процессе выбора между руинированным оригиналом архитектурного памятника и «новоделом»; между научным открытием и журналистской сенсацией, между шлягером и музыкальным шедевром и т. д.).

Разные страны и сообщества, различные исторические эпохи и культурно-политические силы по-разному отвечали и отвечают на эти вопросы, и поэтому деятельность по сохранению или присвоению наследия то и дело превращается в острую борьбу *за* и *против* культуры, понимаемой тем или иным образом. Представители разных поколений, идейных и художественных течений по-своему различают действительные и мнимые ценности культуры, а объективные и субъективные критерии их выявления, анализа и оценки то и дело меняются, объединяются, переплетаются, путаются, вступают в *конфликт интерпретаций*⁶.

Культура всегда многослойна, многозначна, и составляющие ее пласты очень противоречиво и конфликтно соседствуют друг с другом. То и дело возникающие смысловые оппозиции приводят к поляризации культуры одновременно в нескольких измерениях (наука и религия, наука и искусство, философия и обыденное знание, экология и экономика и т. п.). Один и тот же артефакт культуры нередко принадлежит сразу разным культурным пластам, и в одном отношении является положительным, а в другом – отрицательным. Это означает, что разрушительные процессы проникают в микроструктуры культуры. Например, эстетически-положительное одновременно может являться нравственно-отрицательным; коммерчески-позитивное может нести в себе эстетически-негативное; явление религиозной культуры может иметь самодовлеющее эстетическое или коммерческое содержание, и т. д.

Подобное смысловое «расщепление» значимых культурных артефактов, свидетельствующее о кризисных состояниях общества и культуры (подчас – о «расщеплении» самого «ядра» национальной культуры), неизбежно приводит к образованию мнимых явлений культуры или мнимых значений действительных явлений культуры. Границы между действительным и мнимым культурным наследием размываются, а проблема отделения действительного культурного наследия от мнимого обостряется.

Особенно много проблем возникает сегодня со статусом научных ценностей. Если в советское время главной причиной возникновения рядом с действительно научными ценностями мнимых (псевдонаучных или антинаучных) ценностей и даже превращения

подлинно научных идей в «лженаучные», а псевдонаучных – в «единственно верные» являлась политическая идеология, навязывавшая свою интерпретацию действительности/мнимости той или иной науке (биологии, политэкономии, химии, языкознанию и даже физике и математике)⁷, то в постсоветское время на признание научных открытий действительными или мнимыми может повлиять экономика (лоббирование коммерчески прибыльных проектов, реклама), журналистская сенсационность, например, разоблачения и скандалы), религия (если научные факты или открытия противоречат церковной догматике), а в сфере политики – провластная политическая конъюнктура, манипулирующая общественным мнением, и правящая бюрократия, управляющая наукой и искусством в корыстных или конъюнктурных интересах.

В этом случае наука и ее достижения вольно или невольно меняют свой культурный статус и ценность, превращаясь в пропагандистские клише того или иного толка, в средства экономической или политической прагматики, инструменты социального давления. Возникающая в переходные культурно-исторические эпохи *смысловая неопределенность* порождает соответствующие мнимости, порожденные «сшибкой» различных подходов и принципов, взаимоисключающих оценок позитивных и негативных, высказываемых одновременно. В результате в одном ценностно-смысловом поле культурного наследия могут, например, оказаться, с одной стороны, недавние эталоны советской социалистической культуры, внезапно утратившие свою авторитетность (к примеру, «Как закалялась сталь» Н. Островского, «Поднятая целина» М. Шолохова, «Молодая гвардия» А. Фадеева, стихи Д. Бедного, В. Маяковского и т. п.), с другой – явления, лишь недавно вошедшие в культурный обиход и еще не завоевавшие массового признания (скажем, произведения М. Булгакова, А. Платонова, Б. Пастернака, О. Мандельштама, М. Цветаевой, В. Набокова, И. Бродского и др.), а с третьей – феномены масскульта, подчас обладающие сомнительной ценностью. Взаимно неопределенные ценности, переплетенные друг с другом, оказываются, таким образом, вне иерархии, а объем и «глубина» культурного наследия – в принципе неопределимыми.

Лишенные своего социокультурного статуса, эти явления, несмотря на свою общественную или культурную (нравственно-эстетическую и философскую) значительность и художественную ценность и во многом благодаря своей полярности, приобретают в массовом общественном мнении «мерцающий», «смутный» характер, т. е. становятся *контекстуальными мнимостями*, даже *симулякрами*⁸.

Всякая ценностно-смысловая напряженность подобного рода порождает мнимости культуры. Существует множество механизмов и информационных каналов, поддерживающих или дезавуирующих различными, нередко весьма изощренными средствами мнимости культуры, способствующих переводу мнимых ценностей в действительные и наоборот. Важное место в истории каждой национальной и мировой культуры в целом является борьба между действительными и мнимыми явлениями культурно-исторического наследия, в зависимости от исторических и политических условий волнообразно то усиливающаяся и возрастающая, то угасающая и затухающая.

Однако углубленное исследование этих процессов – серьезная и трудная задача последующих культурологических изысканий.

Примечания

- ¹ См. также: *Кондаков И.В.* Культурное наследие в России: проектирование памяти // Мир культуры и культурология: Альманах научно-образовательного культурологического общества России. Вып. III. СПб.: Изд-во РХГА, 2013. С. 89–110; *Он же.* Архитектоника культурного наследия // Культурогенез и культурное наследие. М.; СПб.: Центр гуманитарных инициатив, 2014. С. 533–544.
- ² *Флоренский П.* Мнимости в геометрии. Расширение области двухмерных образов геометрии (Опыт нового истолкования мнимостей). М.: Лазурь, 1991.
- ³ Там же. С. 10.
- ⁴ Впервые об этом: *Кондаков И.В.* Мнимости в культуре (К постановке проблемы) // Изучение и сохранение культурного наследия: Первая междунар. науч.-практ. конф. по культурологии: Сб. науч. ст. и докладов. Н. Новгород: ННГАСУ, 2010. С. 5–8.
- ⁵ Ср. первое полное издание: *Адамович А., Гранин Д.* Блокадная книга. СПб.: Лениздат, 2013.
- ⁶ См. подробнее: *Рикёр П.* Конфликт интерпретаций. Очерки о герменевтике. М.: Аcaademia-Центр: Медиум, 1995.
- ⁷ См., например: Идеология и наука (дискуссии советских ученых середины XX века) / Отв. ред. А.А. Касьян. М.: Прогресс-Традиция, 2008; *Шноль С.Э.* Герои и злодеи российской науки. М.: КРОН-ПРЕСС, 1997.
- ⁸ См. об этом подробнее: *Великанов А.Г.* Симулякр ли я дрожащий или право имею. М.: НЛО, 2007; *Кондаков И.В.* Вместо Пушкина. Незавершенный проект: Этюды о русском постмодернизме. М.: МБА, 2011; *Бодрийяр Ж.* Симулякры и симуляция. М.: Рипол-Классика, 2015; и др.

Б.В. Рейфман

ОТНОШЕНИЯ МЕЖДУ
ВИЗУАЛЬНЫМ БЕССОЗНАТЕЛЬНЫМ
И МИРОСОЗИДАЮЩИМИ
СТРУКТУРАМИ СМЫСЛА
КАК РАЗВИВАЮЩИЙСЯ КОНЦЕПТ

В статье анализируется концепция «структуры видения», изложенная в книге Джонатана Крэри «Техники наблюдателя. Видение и современность в XIX веке», а также выдвигается определенная версия эволюции понимания власти над визуальным бессознательным. Разговор идет об идеях Б. Балаша, С. Эйзенштейна, В. Беньямина, Ж. Делеза, об аутентичном смысле термина «авторское кино».

Ключевые слова: визуальное бессознательное, структура видения, модернизм, динамика культуры, авторское кино.

Для прояснения тематических ориентиров данной статьи начну ее с размышлений о книге Джонатана Крэри «Техники наблюдателя. Видение и современность в XIX веке».

Критически переосмысливая «бинарную модель противостояния реализма и экспериментаторства»¹ и «миф о модернистском разрыве»², автор утверждает, что возникновение модернизма в живописи нельзя считать началом «системного сдвига» в европейской культуре и фактором радикального изменения «модели видения», порожденной еще Ренессансом. Модернистский стиль в литературе, искусстве, создававшийся во второй половине XIX века, и доминировавший прежде критически-реалистический стиль рассматриваются Крэри как родственные друг другу и неотделимые друг от друга следствия произошедшего в первые десятилетия XIX века радикального культурного «разрыва» с предшествовавшим периодом Нового времени. В качестве же главной причины этого «разрыва» выступает «трансформация структуры видения»³, не связанная с теми или иными «прогрессивными» художественными стилями и формами их осмысления.

«Структура видения», «модель видения», «способ видения» – постоянно повторяющиеся в книге словосочетания, вероятно, равнозначные, но так и не обретшие той «чтойности», которая позволила бы дать дефиницию в духе витгенштейновского утверждения, что предложение имеет смысл, если оно «показывает свой смысл»⁴. Если, однако, исходить не из неопозитивистской концепции понимания, а из герменевтической, то со «структурой видения» и ее синонимами вполне можно вступать в диалог как с выражениями «живой индивидуальной интенции»⁵, родственными так называемым предложениям верования, которые стали проблемой для молодых Л. Витгенштейна и Б. Рассела. И тогда эти «не показанные смыслы» можно сопоставить со многими другими известными и тоже «не показанными» вариациями на тему *культурных оснований*, например, с «символической системой» Э. Кассирера, свойственной, по его мнению, лишь человеку и «располагающейся» у хомо сапиенс между «системой рецепторов, посредством которой биологические виды получают внешние стимулы, и системой эффекторов, через которую они реагируют на эти стимулы»⁶.

Однако предложенное Крэри объяснение механизмов радикального культурного «разрыва» принципиально отличается от исторической динамики, подразумеваемой концепцией символических систем и другими рожденными модернистской гуманитарной мыслью теориями. Эти теории, так или иначе развивавшие учение И. Канта о *трансцендентальном субъекте*, всегда предполагали в качестве *первоначальной* причины осуществления культурных сдвигов не *как таковые* воздействия на индивида *внешнего по отношению к нему* мира. Эксплицитно или имплицитно они имели в виду помогающих Истории посредников, той или иной формой деятельности, например, эстетической или политической, но всегда *языковой* в своей трансцендентальной изначальности, оказывающих преобразующее влияние *на других* уже после *собственного* преобразования, которое исходит из трансцендентных причин. Такое «иррациональное» преобразование Деятеля получило в философии XIX и XX столетий много толкований и обозначений. Одним из самых удачных из них является, на мой взгляд, введенное В.С. Библером в работе «М.М. Бахтин, или Поэтика культуры» понятие «феномена самодетерминации человеческого бытия»⁷.

Крэри же первопричиной культурного «разрыва», произошедшего в начале XIX века, считает *две анонимные* силы.

Речь идет, во-первых, о *непосредственном* воздействии на зону человеческой психики, названную В. Бенямином «*областью визуально-бессознательного*»⁸, искусственно-правдоподобных образов,

которые доставлялись новыми научными приборами, превратившимися в средства развлечения, – различными вариантами тауматропов, фенакистископов, стереоскопов и др. В частности, роль стереоскопа как средства репрезентации заключалась в том, что он, согласно Крэри, указывал «на устранение “точки зрения”, вокруг которой в течение нескольких столетий смыслы взаимно присваивались наблюдателю и его видению. В рамках подобной техники наблюдения перспектива становилась невозможной»⁹.

Во-вторых, эти новые «средства наблюдения» представляли собой своего рода узловые точки, трактуемые Крэри в духе «идеологии» Л. Альтюссера и «власти дискурса» М. Фуко как «места знания и власти... в которых философский, научный и эстетический дискурсы пересекаются с механическими техниками, институциональными запросами и социально-экономическими силами»¹⁰.

Высказывания Крэри о воздействии на «структуру видения» технических приборов схожи со смысловыми интенциями многих современных визуальных и медийных исследований. Например, анализируя новоевропейскую традицию видения, Л. Манович говорит о теле, которое в «базирующемся на экране репрезентативном аппарате... должно фиксироваться в пространстве... От мономерной перспективы эпохи Возрождения до современного кино, от кеплеровской камеры-обскуры до камеры-люциды XIX века тело должно было оставаться неподвижным»¹¹. «Тело», которое имеется здесь в виду, нужно, вероятно, понимать как «феноменологическое тело» М. Мерло-Понти, которое неосознанно для конкретного наблюдателя «присутствует» в каждом зрительном процессе именно как руководящая этим процессом «структура видения». В таком случае вхождение в это «феноменологическое тело» может осуществиться только в акте трансгрессивной утраты своего Я, дарующей, как пишет Мерло-Понти, «способность быть вне самого себя, изнутри участвовать в артикуляции Бытия»¹². Переводя это «участие в артикуляции Бытия» на язык одного из первых теоретиков оснований зрительного восприятия А. Гильдебранда, можно сказать, что «область визуально-бессознательного» – это «пограничное место» потенциально возможной активизации «факторов, на которых основывается наше представление»¹³.

Буквальный смысл, заключенный в приведенных словах Мановича, кажется противоположным утверждаемому Крэри «устранению “точки зрения”», произошедшему в середине XIX века под влиянием стереоскопических образов. Однако *сущностно* эти смыслы совпадают: в обоих случаях речь идет о фундаментальном значении для генезиса возможности коммуникации не *авторских*

нарративных или ненарративных структур изображений, а тех характеристик внешних образов, которые непосредственно связаны с *анонимным* воздействием самих коммуникативных средств. Говоря же о другой, «идеологической», анонимности и ее роли, Крэри пишет, что «наблюдатель – это тот, кто видит... в рамках заданной системы возможностей, тот, кто включен в определенную систему конвенций и ограничений»¹⁴.

Но могла ли образовавшая анонимную «идеологию» первой половины XIX века «система конвенций», которая была задана «Критиками» И. Канта, «Учением о цвете» И.В. Гёте и пришедшими вместе с ними к власти научными дискурсами физиологии и психологии зрения, изменить не *знание* о видении, а именно «*структуру видения*» без *непосредственного участия* новых оптических средств развлечения? В своей книге Крэри не только напрямую связывает изменение «структуры видения», лежащей в бессознательном основании мирозидания и «очевидности», с *как таковым*, а не опосредованным «идеологией», влиянием оптических иллюзий, но и подразумевает то, что «область визуально-бессознательного», подвергшаяся воздействию, сама начинает генерировать *языковые структуры*.

Именно такая логика упраздняет первостепенную роль «самодетерминированного» Деятеля в генезисе культурных «разрывов». И наоборот, эта логика дает анонимным техническим визуальным формам, а вместе с ними и анонимной «идеологии» право порождать базовые языковые установки культуры. Этим и объясняется смещение с позиции главного события в культурной динамике XIX века «сдвига» от реализма к модернизму.

Между тем у проблемы связи «структуры видения» с воздействием технических образов на «область визуально-бессознательного» довольно долгая, в частности кинотеоретическая история, и идеи Крэри являются поздней, *постмодернистской* вариацией на данную тему.

Когда Франсуа Трюффо, заключая статью 1954 г. «Говард Хукс. Лицо со шрамом», пишет: «Это мало похоже на литературу, это, быть может, ближе к танцу, к поэзии, и, конечно же, это кино»¹⁵, – я понимаю, что речь идет не столько о неких «бесспорных достоинствах»¹⁶ конкретного фильма, сколько о проступающем новом взгляде на экзистенциальную «подлинность»¹⁷, которая вскоре окажется во власти постструктуралистской категории «отсутствия»¹⁸. Я понимаю это потому, что данный текст нельзя отделять от романов Бориса Виана и Вернона Салливана¹⁹, от феноменологии восприятия М. Мерло-Понти и, конечно же, от написанной в том

же 1954 г. другой статьи Трюффо «Об одной тенденции во французском кино», в которой, кажется, впервые используется словосочетание «авторское кино»²⁰. И это «авторское кино», рождающееся еще только как понятие, которому ничего не известно о своем будущем превращении в мощный влиятельный концепт, начинает перенаправлять экзистенциалистскую режиссерскую «подлинность». От свойственного даже еще и Андре Базену ее понимания как *полноты*, неотъемлемой от предельно-рефлексивного, «пограничного», *языкового существования*, «подлинность» смещается в сторону некоей *дорефлексивной*, в частности *чисто визуалистской пустоты*²¹. Именно по причине такой переориентации, происшедшей со второй половины 1940-х гг. в умах молодых европейских интеллектуалов-гуманитариев, получили «благословение» и стали «авторами» те американские кинорежиссеры, которые «никогда не произносят слова “искусство”... никогда не произносят слово “поэзия”»²², другими словами, на дух не переносят никакого «жаргона подлинности»²³.

С другой стороны, одним из главных истоков экранной «непохожести на литературу», проговорившейся во фразе Трюффо «конечно же, это кино», была «фотогения» Л. Деллюка. Ее «неопределенность» («... есть столько фотогений, сколько идей»²⁴) являлась «концентратом... смысла, который не должен формулироваться в словах, но оставаться не расшифровываемым смыслом жизни»²⁵. А в 1924 г., через четыре года после публикации Деллюком статьи «Фотогения», выходит «Видимый человек» Б. Балаша, в котором отрицание «литературных фильмов»²⁶ соединяется с идеей эмпатической передачи зрителю некоего «жизненного всеведения». Средством же эмпатии должна стать синестезия *определенного повествования*, построенного с учетом архетипического «живого и конкретного интернационализма: единой и общей психики белого человека»²⁷ и *предустановленной* именно такому повествованию *довербальной* «осмысленной музыки» изображения²⁸.

Согласованность форм коллективного бессознательного и предустановленных им довербальных «жизненных» ритмов впервые была концептуализирована Ф. Ницше. В «Рождении трагедии из духа музыки» он говорил о «способности музыки рожать миф» и о вознесении зрителя драмы, в которой соединены аполлоническое сценическое повествование и соответствующий ему дионисийский «ритм», «до уровня некоего всеведения по отношению к мифу»²⁹.

Г. Зиммель, придавший этой концепции социологическое изменение, высказал мысль о довербальной «тенденции к симметрии, к равномерному расположению элементов... свойственной всем

деспотическим формам общества»³⁰ и о противоположном глубинно-психологическом стремлении к асимметрии, характерном для состоящего из самостоятельных индивидуумов демократического общества³¹.

Тема же *властного потенциала* экранной визуальности была порождена объединившей многих кинотеоретиков во второй половине 1920-х гг. концепцией «нового чувства», претерпевающего становление в зрителе-горожанине при воздействии на него и экранных ритмов, и современных ритмов большого города. В *марксистско-функционалистском* контексте, прежде всего в теоретизированиях С. Эйзенштейна и В. Беньямина, концепция «нового чувства» соединилась с идеей проектирования нового коллективного сознания. В частности, в знаменитом «Произведении искусства в эпоху его технической воспроизводимости» речь идет о «тактильном» характере визуального кинематографического воздействия, ведущего к «глубинному изменению апперцепционных механизмов»³². Активизация «области визуально-бессознательного» в сочетании с киноповествованием, выстроенным в соответствии с определенными идеологическими целями, дает возможность «развлекательному, расслабляющему искусству»³³ кино, оставаясь зрелищем, рассчитанным на «рассеянное восприятие»³⁴, которое «не требует концентрации и происходит в коллективных формах»³⁵, становится влиятельным фактором политизации массового сознания.

Такая позиция Беньямина в определенном смысле противоположна кинотеоретическим концепциям Эйзенштейна. Ведь Эйзенштейн, говоря об «интеллектуальном кино», которому «будет под силу положить конец распре между “языком логики” и “языком образов”»³⁶, имел в виду как раз не «развлекательное, расслабляющее искусство», а *остраняющее* искусство, генерирующее хотя и управляемые, но все-таки не связанные с задачами релаксации зрительские когнитивные процессы.

Но в другом контексте Беньямин и Эйзенштейн говорили об одном и том же: о формировании через посредство «тактильных» свойств кинематографической визуальности массовой «личности», увиденной с точки зрения определенных вариантов марксизма. Причем задачей такого формирования коллективной «личности» являлось радикальное преодоление *человека массы* и превращение его в *безгранично развивающегося человека новой эпохи*.

Нараставшее после Второй мировой войны ощущение исчерпанности этих отношений между «развивающейся личностью» и «массовостью», терявшей «ограниченность» как свой сущностный

негативный признак, стало определяющим фактором становления нового чувства жизни. Возвращаясь к фразе Трюффо «конечно же, это кино», можно сказать, что отразившаяся в ней концепция кинематографического «авторства» имела непосредственное отношение к данной трансформации. В этом смысле «авторское кино» Трюффо являлось определенным аналогом и маклюэновского понимания мирозозидающей роли носителя информации, и пост-модернистского варианта *media is the message*, наиболее отчетливо проступившего в «проективно-властных» интенциях философии кино Ж. Делеза.

В первой книге своего двухтомника «Кино» Делез говорит о сущностных изменениях характера субъективности, произошедших в XX в. под воздействием экранных «движений-образов». Как пишет в предисловии к публикации глав из этой книги О. Аронсон, «кино для Делеза... такая технология производства образов, которая в корне меняет субъект-объектные отношения, когда образ постепенно... теряет свою “объективность”... В отличие от искусства прошлого, кино создает такие образы, которые нельзя зафиксировать в качестве объективных... образы-движения. В них концентрируется не наше видение (изображения) и не наш язык (риторические фигуры), но сама... нетождественность восприятия, постоянное (в акте восприятия) становление субъекта другим»³⁷. Это означает, что сама динамическая природа кинематографической визуальности, независимо от передаваемого «движениями-образами» повествовательного смысла, наделяется Делезом *стратегической властной функцией анонимного* воздействия на мирозозидающие структуры смысла. Имея в виду некоторые аспекты делезовской версии «смерти субъекта», прежде всего переключку вторящих друг другу имен абсолютного «различия», можно сказать, что это властное воздействие трактуется французским философом как «перемещение» децентрированного «бессмысленного» временного «потока, преодолевающего барьеры и коды»³⁸, с *онтологического уровня* субъективности на ее *коллективно-психологический уровень* априорности мировосприятия.

Выстраивая дискурс «движений-образов», французский философ ничего не говорит о киноповествовании, без которого ни у Бенямина, ни у Эйзенштейна никакая активизированная «область визуально-бессознательного» *сама по себе* не смогла бы оказать властное идеологическое воздействие на «человека массы», превратив его в «личность». Делеза же вообще не интересует «личность» как определенная культурная ценность. Точнее, она

интересует его как преодоленная или, по крайней мере, требующая преодоления ценность, как основание той новоевропейской культуры, которая, по его мнению, полностью исчерпана и должна превратиться из «культуры» в «социальное тело», являющееся «метастабильным хаосмосом». Культуру «личности», ориентированную на неограниченное развитие, должна сменить совершенно иная коллективно-психологическая ориентация, связанная с идеей «ограничения», а точнее, разнонаправленных, никак не относящихся друг к другу множественных «ограничений», которые, как это ни парадоксально, дают человеку гораздо большие возможности сопротивления той или иной «власти» и, следовательно, делают человека и общество более свободными.

С влиянием этих идей и их экстраполяцией на другой этап европейской истории, по моему мнению, в определенной степени связана и версия культурного «разрыва» начала XIX в., изложенная в книге Джонатана Крэри.

Примечания

- ¹ *Крэри Д.* Техники наблюдателя. Видение и современность в XIX веке. М.: V-A-C press, 2014. С. 16.
- ² Там же.
- ³ Там же. С. 17.
- ⁴ *Витгенштейн Л.* Логико-философский трактат. 4.022 // Библиотека Якова Кротова [Электронный ресурс]. URL: http://krotov.info/lib_sec/03_v/vit/genshtey3.htm (дата обращения: 20.09.2015).
- ⁵ *Апель К.-О.* Трансформация философии // Библиотека «Полка букиниста» [Электронный ресурс]. URL: http://polbu.ru/appel_philotransform (дата обращения: 20.09.2015).
- ⁶ *Кассирер Э.* Опыт о человеке. Введение в философию человеческой культуры // Кассирер Э. Избранное. Опыт о человеке. М.: Гардарика, 1998. С. 470.
- ⁷ *Библер В.С.* Михаил Михайлович Бахтин, или Поэтика культуры // Библер и вокруг [Электронный ресурс]. URL: http://www.bibler.ru/bim_bakhtin.htm (дата обращения: 15.09. 2015).
- ⁸ *Беньямин В.* Произведение искусства в эпоху его технической воспроизводимости // Беньямин В. Учение о подобии: медиаэстетические произведения. М.: РГГУ, 2012. С. 222.
- ⁹ Там же. С. 163.
- ¹⁰ Там же. С. 21.
- ¹¹ *Манович Л.* Археология компьютерного экрана // Экранная культура. Теоретические проблемы. СПб.: Дмитрий Буланин, 2012. С. 66.

- 12 *Мерло-Понти М.* Око и дух // Французская философия и эстетика XX века. М.: Искусство, 1995. С. 248.
- 13 *Гильдебранд А.* Проблема формы в изобразительном искусстве и собрание статей о Гансе фон Маре. М.: МПИ, 1991. С. 20.
- 14 *Крэри Д.* Указ. соч. С. 18–19.
- 15 *Трюффо Ф.* Говард Хоукс. Лицо со шрамом // Трюффо о Трюффо. Статьи. Интервью. Сценарии. М.: Радуга, 1987. С. 62.
- 16 Там же. С. 61.
- 17 «Подлинность» («аутентичность») – ключевое понятие М. Хайдеггера, указывающее на совпадение человеческой жизни с априорными условиями ее бытия, которые философ называл «экзистенциалами».
- 18 «Отсутствие», родственное определенным образом понимаемой «пустоте» и противоположное экзистенциалистской «подлинности», – важнейшее понятие постструктурализма.
- 19 Вернон Салливан – псевдоним Бориса Виана, взятый им для нескольких романов в стиле нуар, самый известный из которых – «Я приду плюнуть на ваши могилы».
- 20 См.: *Трюффо Ф.* Об одной тенденции во французском кино // Документы [Электронный ресурс]. URL: <http://rudocs.exdat.com/docs/index-168133.html> (дата обращения: 15.03.2015).
- 21 Постструктуралистский смысл понятия «пустота» раскрывается Р. Бартом в «Критике и истине»: «Классическая критика питала наивное убеждение, будто субъект представляет собой некую “полноту”... субъект не есть некая индивидуальная полнота, которую мы имеем (или не имеем) право проецировать на язык... напротив, он представляет собой пустоту, которую писатель как бы оплетает до бесконечности трансформируемым словом... так что любое письмо, *которое не лжет*, указывает не на внутренние атрибуты субъекта, но на факт его отсутствия» (*Барт Р.* Критика и истина // Барт Р. Избранные работы. Семиотика. Поэтика. М.: Прогресс, 1994. С. 366).
- 22 *Трюффо Ф.* Господи, благослови Джона Форда! // Трюффо о Трюффо. С. 60.
- 23 «Жаргон подлинности» – название книги Т. Адорно, в которой он резко критикует экзистенциализм М. Хайдеггера и К. Ясперса.
- 24 Цит. по: *Ямпольский М.Б.* Фотогения. Вступительная статья к разделу «Фотогения» // Немое кино. 1911–1933. Из истории французской киномысли / Сост. М.Б. Ямпольский. М.: Искусство, 1988. С. 75.
- 25 *Ямпольский М.Б.* Видимый мир. Очерки ранней кинофеноменологии. М.: НИИ киноискусства; Центральный музей кино; Международная киношкола, 1993. С. 48.
- 26 *Балаш Б.* Видимый человек. Очерки драматургии фильма // Киноведческие записки. 1995. № 25. С. 70.
- 27 Там же. С. 67.
- 28 Там же. С. 93.

- ²⁹ Ницше Ф. Рождение трагедии из духа музыки // Ницше Ф. Стихотворения. Философская проза. СПб.: Художественная литература, 1993. С. 207, 235.
- ³⁰ Цит. по: *Инишев И.* «Иконический поворот» в теориях культуры и общества // Логос. 2012. № 1 (85). С. 190.
- ³¹ Там же. С. 189–196.
- ³² *Беньямин В.* Произведение искусства в эпоху его технической воспроизводимости. С. 226.
- ³³ Там же. С. 228.
- ³⁴ Там же.
- ³⁵ Там же. С. 227.
- ³⁶ *Эйзенштейн С.М.* Перспективы // Эйзенштейн С. Избранные произведения: В 6 т. Т. 2. М.: Искусство, 1964. С. 43.
- ³⁷ *Аронсон О.* Возвращение философии. Логика кино по Жюлье Делезу // Киноведческие записки. 2000. № 46 [Электронный ресурс]. URL: <http://www.kinozapiski.ru/ru/article/sendvalues/578> (дата обращения: 26.12.2015).
- ³⁸ Цит. по: *Ильин И.* Постструктурализм. Деконструктивизм. Постмодернизм. М., 1996. С. 111–112.

Д.И. Антонов

ЭФИОПЫ, ТЕМНОЗРАЧНЫЕ, СИНЬЦЫ: БЕСОВСКОЙ ОНОМАСТИКОН ДРЕВНЕРУССКИХ ТЕКСТОВ

Статья посвящена номинациям, которые использовались в древнерусской переводной и оригинальной литературе для обозначения демонов и для описания иерархии падших ангелов. Демонстрируется высокая вариативность и разнообразие таких имен, традиция эвфемистических наименований демонов и номинации, использовавшиеся в магических текстах, записанных в XVII–XVIII вв.

Ключевые слова: древнерусская культура, демонология, книжность.

В разных частях христианского мира демонологические представления и образы, отразившиеся в книжности и иконографии, строились на фундаменте дохристианских мотивов. Демоны унаследовали не только черты и качества различных мифологических персонажей, но и их прозвища и иносказательные обозначения. Именно об именах я хотел бы поговорить в предлагаемой статье, рассмотрев основные номинации, которые применялись к падшим ангелам в древнерусских текстах и которые формировали гетерогенный и сложный бесовской ономастикон средневековой Руси.

Для обозначения падших духов в русской книжности применялось множество имен и определений. Прежде всего это общеславянское «бес» и греческое «демон» (употребляется с XI в.): оба имени обозначали падших духов, последовавших за Люцифером. Не менее распространены наименования *дьявол* (в Септуагинте это имя часто заменяло еврейское «сатана») и *сатана* («клеветник», «противник»), которые могли использоваться применительно как к

© Антонов Д.И., 2016

Работа выполнена при финансовой поддержке РГНФ, грант № 15-04-00482.

первому искусителю, так и к подчиненным ему духам¹. Слово *черт* появляется в письменных текстах с начала XVII в.: самые ранние из известных фиксации – в дневнике Ричарда Джемса (1618–1619 гг.), где оно включено в ряд других наименований: «враг, чорт, дьявол, оканьной, бес»², и в Изначальной редакции Сказания Авраамия Палицына (первая половина либо конец 1610-х гг.)³ применительно к Василию Шуйскому: «Хотя бы нам чорт, только бы нам не тот»⁴. Сам «отец греха» именовался в древнерусских текстах Сатанаилом⁵ или Денницей, реже – Люцифером и Еосфоросом. Все эти имена так или иначе указывали на утерянный ангельский чин дьявола. Денница, Люцифер и Еосфорос – славянский, латинский и греческий синонимы, которые означают «сияющий», «утренняя звезда»: это имя восходит к 14 главе книги пророка Исаии – библейские слова о падшем «сыне зари» традиционно соотносили с дьяволом (Ис. 14:12). С именем Сатанаил связана апокрифическая легенда о том, что частица «-ил» (*-эль* – «Бог» на иврите), свидетельствующая о божественной природе, была отнята у Сатанаила после его падения (так Сатанаил стал сатаной) и передана архангелу Михе, который стал именоваться Михаил⁶. В XVI в. Максим Грек, критикуя популярный европейский сборник «Луцидариус», отвергал такую идею: дьявол до своего падения не мог зваться Сатанаилом, так как «сатанас» – еврейское «отступник», его имя было Еосфорос, по пророчеству Исаии⁷. Курбский, считавший себя учеником Максима Грека, использовал и славянский, и греческий варианты имени в «Истории о великом князе Московском»: «...И абие Денница низпаде... возгордев бо и не сохранив своего чина, яко писано есть и от Осфороса сатана наречен, сиреч отступник»⁸.

В священном Писании упоминаются имена Вельзевул (Веелзевул/Вельзевуб), Велиал (Велиар/Белиал), Ваал, Бегемот, Левиафан, Аваддон⁹, восходящие к иудейской и ассиро-вавилонской мифологии и связанные впоследствии с демонами. В западной традиции эти имена вместе с Люцифером и Сатаной (а также Астаротом, Асмодеем и др.) традиционно возглавляли сложные иерархии демонов, а на Руси были известны благодаря как библейским текстам, так и различным переводным сочинениям. *Вельзевул* при этом зачастую искажался до *Зефелуз / Зуфелуз*. Еще одно популярное имя демона в славянской книжности – *Зерефер* (*Зефер*, *Зереф*, *Зефувер* и т. п.) – из переводной греческой Повести о бесе Зерефере; распространившись в русских списках с XIV в., оно перекочевало в некоторые древнерусские тексты. Вероятно, из-за некоторой схожести с именем *Зуфелуз*, Азбуковники предлагали такое объяснение: «Зереферъ толк и Зуфелузь сия»¹⁰.

Различные номинации демонов косвенно связаны с представлением об их хаотичной множественности, организованной при этом в некие структуры. Сама идея об упорядоченном разнообразии иерархически выстроенных сонмов бесов основана на словах Евангелия, где дьявол называется «князем» демонов и «князем мира сего», а его обитель – «царством» (Мф. 9:34; 12:24–27; Лк. 11:17–20; Ин. 12:31; Рим. 16:20; 1 Кор. 4:5). Эта модель уподобляла inferнальный мир государству с социальной стратификацией. В католической Европе были разработаны подробные иерархии падших ангелов: среди них выделяли князей, принцев и герцогов, судей, адвокатов и т. п. – в ход шли имена, упомянутые в Библии и пришедшие из иудаистических легенд¹¹. В Византии и на Руси такие именные и детально прописанные иерархии не были распространены. Вероятно, самую яркую попытку классифицировать бесов предпринял в XI в. константинопольский теолог Михаил Пселл: отталкиваясь от популярной иерархии ангелов псевдо-Дионисия Ареопагита, он разделял падших духов на несколько основных рангов, сила которых убывает по мере удаления от небес: высшие, «сияющие» бесы, обитают в эфире, над луной, далее следуют демоны, населяющие воздух, расселившиеся по земле, живущие под землей и находящиеся в аду. Чем ниже положение беса в мироздании, тем ближе он к материальному миру и тем меньшим разумом и способностями наделен. Сильнейшие высшие демоны воздействуют на сознание человека, творят иллюзии и сбивают с пути праведников, земные подстерегают проходящих людей и пытаются вселиться в них, сделав одержимыми – они лишены разума и похожи скорее на зверей и насекомых, не могут размышлять и говорить, поэтому одержимый лишается разума и речи. Адские бесы глухи, слепы, немы и воплощают совершенно бессмысленное зло¹². Сочинение Пселла повлияло на некоторых европейских и, вероятно через их посредство, русских авторов: в архиве Посольского приказа не так давно было найдено русское демонологическое сочинение XVII в. (пусть довольно краткое), в котором бесы также разделяются на земных, воздушных и адских, причем воздушные обладают самыми «тонкими» телами, благодаря чему лучше других преобразуются и творят иллюзии¹³.

Хотя бесовские имена не фигурируют в таких описаниях, они порой возникают в рассказах, где упоминаются «воинства» и «полки» демонов, возглавляемые «воеводами», «начальниками» и «князьями». Так, автор Жития Елеазара Анзерского утверждал, что святого искушал злодейственный князь бесовского сонмища, который, вселившись в одного брата, представился людям: «де не мните, яко отъ простейшихъ есмь духовъ, ни, но князь Фелузерь

нарицаюся» (еще один искаженный вариант Вельзевул/Зуфелуз), а затем сообщил, что он искушал Елеазара Анзерского и возил на пегей ослице Авраамия Ростовского¹⁴.

У многоликого дьявола множество имен, как и множество обликов, и эти имена легко подменяют друг друга. Инфернальный мир пестр и нестабилен: на его вершине – Люцифер/Денница, а ниже располагается бесчисленное и неразличимое (без иерархий европейского типа) множество демонов и «бесовских князей». Они описаны с помощью метафор служения (бесы служат Люциферу, как ангелы служат Богу), государственного устройства («царство» сатаны), воинской иерархии (бесовские легионы, полки, воинство дьявола) и родства (сатана – отец бесов). Несмотря на это, во многих текстах граница между дьяволом и подчиненными ему духами теряет определенность: это можно увидеть на примере переводных греческих мучеников свв. Никиты, Ипатия, Марины и Иулиании, выстроенных по схожей модели и, вероятно, восходящих к одному источнику. В апокрифическом житии Никиты Бесогона к святому в темницу приходит *дьявол*, который в другом месте называется *бесом*. Никита бросает его на землю, начинает бить и заставляет признаться, что его зовут *Вельзевул* и он послан обольстить мученика своим отцом – *сатаной*¹⁵. В мученичьем житии Ипатия Гангрского, который включает аналогичную сцену избияния и допроса *дьявола*, тот представляется *сатаной* и хвалится, что именно он когда-то изгнал Адама из рая, искусил Христа в пустыне и т. д.¹⁶ Однако в последующих описаниях тот же дух называется уже «бесом», и святой Ипатий отсылает его «в бездну» до Страшного Суда. В истории св. Марины Антиохийской мученица, заточенная в темницу, побеждает *беса*, или *дьявола*, по имени *Вельзевул*, посланного к ней своим отцом *Сатанилом/сатаной*¹⁷. Наконец, в близком рассказе из мученичье жития св. Иулиании (Ульяны) Никомидийской к узнице под видом ангела является *бес* по имени *Велиар* – когда святая схватила его и принялась мучить, он признался, что его зовут *Зефуввер*, бес лукав, а послал его отец *сатана*, который зовется *Зуфелуз*¹⁸. При этом он, как и его «коллега» из мученичье жития Ипатия Гангрского, перечисляет все свои деяния: от убийства Авеля и предательства Иуды до наущения Нерона, чтобы тот предал мученическую смерть апостолов¹⁹. В конце XVII в. в редакцию Жития св. Иулиании из Чегых Миней Дмитрия Ростовского была внесена правка, логично типологизировавшая демонов: «отца» бесов навали сатаной, а пойманного духа – дьяволом, «одним из первых князей тьмы»²⁰. Как видно из этих примеров, повелителя демонов часто зовут *сатаной*, а его «сыновей» – *бесами* и *дьяволами*. Однако падший дух мог называться и «сатаной», и «силой дьяволовой», на

которую работает «весь полк бесовский», и т. п.²¹ – устоявшейся градации в переводной агиографии, по сути, не существовало.

Вертикальная иерархия подкреплялась горизонтальной, «профессиональной» стратификацией бесов, специализирующихся на разных грехах. Однако в ней фигурируют не имена, а характеристики: помимо мытарственных демонов (блуда, сребролюбия, тщеславия и проч.), последовательно испытывающих душу после смерти, в житийных текстах упоминаются различные искусители, действующие на земле, как «чревообъястивный» демон, бес, прельщающий юных людей, и т. п.²² В русских текстах XVII в. все чаще возникает разделение духов по локальному (водные, лесные) признаку²³.

Если все подобные типологизации бесов были минимально связаны с их именами, то отождествление христианскими авторами язычества с «бесопоклонством», а идолов – с демонами²⁴ обогатило древнерусскую книжность множеством «демонических» имен. Боги восточной и античной мифологии – Осирис, Зевс, Аполлон, Афродита, Аретмида, Посейдон и др. – фигурировали в различных переводных сочинениях, где они отождествлялись с бесами, прельстившими народы. Помимо этого, в массе русских памятников осуждались обряды, связанные со службой «бесам» – персонажам славянской мифологии: вилам, Роду и рожаницам, Перуну, Хорсу, Мокоши и др.²⁵ В XIV в. новгородский архиепископ Моисей осуждал жертвы, приносимые демонам, и колдовское изгнание «немощного беса, глаголемаго тряско» (трясовица), с помощью других «проклятых бесов елиньских»²⁶. На исповеди священники должны были спрашивать у женщин: «или чародейство деяла, или бесам молилася, и з бабами, еже есть рожница, и вилом и прочим таковым?»; «или чашу пила з бабами бесом, или трапезу ставила Роду и роженицам?»²⁷. «Бесомольцев» следовало отлучать на три года как душегубцев и поджигателей²⁸ (Требник, XIV в.)²⁹. Эта традиция рассмотрена во многих работах по древнерусскому народному православию, поэтому останавливаться на ней отдельно нет смысла³⁰; интереснее отметить, что в некоторых переводных греческих текстах в качестве демонов представляли низшие боги античной мифологии – кентавры, сатиры и фавны³¹. В Житии Павла Фивейского сатиры и кентавры представлены разумными говорящими животными, стадам которых не осталось места на земле после воскресения Христа, при этом один из сатиров просит св. Антония молить за них Бога³² – в рукописных сборниках встречаются даже миниатюры, отразившие этот курьезный сюжет³³.

Важнейший компонент бесовского ономастикона – субстантивированные эпитеты. В средневековых текстах широко употреблялись иносказательные наименования сатаны и бесов, восходящие к ха-

рактик, использованным в Библии и связанные с идеей вредности и опасности, прельщения и обладания грешным миром: «князь века сего», «миродержец» (Ин. 12:31; Еф. 2:2; 6:11–12; 12:27), «отец лжи» (Ин. 8:44), «лукавый», «искуситель», «погубляющий», «неприятель», «враг», «противник» и проч. Некоторые из них с уничижительной коннотацией указывали на искаженную природу самого падшего ангела, как «нечистый» и «окаянный»³⁴, другие обыгрывали апокалиптический образ дракона-дьявола: «змей», «древний змей», «змей лукавый», «змей погубляющий» и т. п. Особый вид эвфемистических наименований связан с черным/темным обликом бесов: *темнозрачные, черные, синьцы*; они коррелировали с описаниями, в которых нечистый дух являлся людям «темным как индианин»³⁵ и т. п. (ср. в Житии Андрея Юродивого: «Демоне суть неключни, черни, темне, грешне, прокляте. Да ангели блискаются, а демоне мерчатъ. Они же суть свет, а си тма»³⁶). В Житии Афанасия Афонского в качестве такого эвфемизма используется греческое и русское слово «черный», причем автор обыгрывает название местности: Бог уготовал праведнику жизнь на краю Афона, в месте, называемом Мелана, где его начал искушать «меланыи... иже на роси-скому языку черньни нарицается...»³⁷. Бес, имеющий вид эфиопа, упоминается в Житиях раннехристианских отцов-пустынников и в других памятниках, восходящих к аскетической традиции IV–V вв.³⁸ Некоторые авторы указывали при этом, что на самом деле бесы не просто черны, какими они являются людям, но подобны темному пламени: «Не соут бо беси таци яко же видим я черны, но соут огне омрачени»³⁹. Следуя той же логике, бесов именовали *агарянами, муринами* и *эфиопами*; прилагательные *муринский* и *эфиопский* часто использовались в значении «бесовский» (ср. известную инвективу Ивана IV в адрес Андрея Курбского, который писал царю, что тот больше не увидит его лица: «Кто бо убо и желает такового эфиопскаго лица видети?»⁴⁰).

Субстантивированные эпитеты, безусловно, напоминают хорошо известную стратегию – избегание «истинных» имен вредоносных духов и использование имен-заместителей: в устных традициях многочисленных эвфемизмы, как русские *нечистый, шутик, волосатик, шии, шииша, маленькие* и проч., имеют охранительную функцию, позволяя говорить об опасном персонаже, не помяная и тем самым не привлекая его⁴¹. Однако в книжности эти наименования чаще всего не связаны с апотропеической прагматикой – наравне с *эфиопами* и *темнозрачными* падших духов называют бесами, дьяволами и т. п. Древнерусские Азбуковники объясняли читателям, что бесов уподобляют жителям южных стран с тем, чтобы подчеркнуть осо-

бенности их облика: «Мурины, мурския страны человекъ, наричет же Писание и бесовъ муринами и ефиопами, и аравлянами, черности их ради, черны бо сут беси, якож черны ефиопских и мурских стран люди, и черности ради бесовъ ефиопами, и муринами, и аравлянами именует»⁴². «Ефиопи, смиренни, есть же обчаи Писанию и бесовъ ефиопами нарицати черности ради их, черны бо сут беси, аки главня угашена от огня, и черности ради вида их мышление именуются аравлянами и ефиопами, и муринами, понеже бо сих триех стран люди велми чены»⁴³. Аналогичное по семантике слово *синьцы* не связано с какими-либо людьми, и статья про них оказывается лаконично-указательной: «Синьцы, бесове»⁴⁴.

Богатая «энциклопедия» бесовских имен – азбуковники XVI–XVII вв., где в алфавитных статьях среди прочего упоминаются имена демонов. Помимо известных («Вельзевул и Велиаръ, та имена бесовска»), тут фигурируют и более экзотичные персонажи: Еревентий и Кугун, Коментиол и Зарватей, Зифелуз, Зерефер, Зифей, «отец бесовский» Савореоса (с пометкой *пер.* – персидский), Малейм (*ж.* – жидовский), Мааксентий (*ла.* – латинское)⁴⁵. Эти короткие статьи могли бы затеряться среди других, если бы в начале Азбуковника не приводилось описание, целиком посвященное бесовским прозвищам, – здесь рассказано, что подобные имена используются в колдовских целях: волхвы и чародеи пишут их на бумаге и повелевают носить ее людям в качестве амулета либо чертят их на еде – если человек по незнанию возьмет себе такое имя (подсказанное тем же волхвом), он погубит душу⁴⁶. Такое вступление явно приковывало внимание к табуированным именам.

Наконец, в текстах XVII–XVIII вв. возникает множество новых бесовских имен, связанных с магией, – они используются в заговорах, часто собранных в колдовские «тетрадки», либо же их перечисляют фигуранты следственных дел о колдовстве, описывая на допросе свои взаимоотношения с бесами-помощниками. Это письменная фиксация устной традиции, которая достаточно мало пересекалась здесь с книжной, поэтому о таких текстах следует упомянуть лишь вкратце.

Согласно следственным показаниям обвиненный в чародействе Афонька Науменко в 1642–1643 гг. называл служивших ему демонов Народил и Сатанаил⁴⁷. Колдуны XVIII в. призывали дьяволов Пелатата, Верзаула и Мафаву, Суфаву, Зеследера и Пореастона, Коржана, Ардуна, Купалолаку и Вергула, взывали к бабе Яге «с братьями», Сатане Сатановичу, «вьял-мужу чорту» и поминали «худого» и «лысого» бесов⁴⁸. В заговорах фигурируют князь бесовский Ехоран, темный блудный бес Сольца, водяной бес Ярахта или «похотной

бес» Енаха⁴⁹. У сатаны есть «светлой бес утренной», «мал рыж бес полуденной» и «черен бес вечерен»⁵⁰, а также «зять» Ерзоул (еще одно производное от *Вельзевул*)⁵¹. В текстах упоминаются Велигер и Итас, Василиск и Аспид, Енаррей, Индик, Халей, Валаам, Валегл и даже Галилей⁵². Некоторые из этих имен восходят к книжным источникам, другие – к славянской мифологической традиции (в том числе к волшебным сказкам, см. ниже), третьи конструируются самим заклинателем. В демонов (что характерно для народного христианства) легко превращаются антигерои Евангелия – Пилат, Ирод и Иуда⁵³. При этом некоторые духи называют себя православными именами: Семен, Иван, Андрей⁵⁴. Любовный заговор, зафиксированный в 1733 г., обращен к «Сатоне и диаволу», сидящему на печи, к бабе-Яге, которая сидит на бел-горючем камне посреди кияна-моря, и к бесу Полуехту⁵⁵. В 1729 г. священник был обвинен в хранении еретических писем, в том числе молитвы к бабе-Яге⁵⁶, а в заговоре, записанном в 1734 г., поминается «царь юноша бес Сатана»⁵⁷. Такая гетерогенность имен вполне естественна для славянских заговоров, в которых в схожих позициях функционируют самые разные персонажи – от заимствованных из христианской культуры (Христос, Богородица, святые) до уникальных, которые возникают исключительно в магических текстах (баба с железными зубами и проч.; ср. также множество имен трясавиц, перечисляемых в разных вариантах заговоров от лихорадок, «дочерей царя Ирода»⁵⁸). Это традиция, в которой важны не столько конкретные имена, зачастую имеющие малую или нулевую привязку к персонажам-прототипам, сколько фактура произносимого текста и стратегия магического акта⁵⁹. Многочисленность номинаций подчеркивает множественность демонов, а сами имена отбираются по принципу либо узнаваемой негативной семантики (Ирод, Пилат или баба Яга), либо экзотичности (отсюда их конструирование или заимствование из «высокой» культуры – от Галилея до Полуехта). Как и в книжности, здесь эксплуатируется идея об иерархичности бесовского мира: в описаниях колдунов встречаются не только лысые или кривые бесы, но меньшие и «набольшие», бесовские князья, начальники, цари и т. п.⁶⁰ Большинство использующихся номинаций мало пересекается с теми, что были распространены в средневековых текстах, хотя отдельные заимствования, такие как имена Сатанаил или производные от Вельзевул, можно проследить и здесь.

«Путаная» ономастика бесов в древнерусской книжности (когда один дух может назвать себя и сатаной, и Велиаром, и искусителем Христа, а потом оказаться «простым» демоном) имеет под собой определенные основания. С одной стороны, как верно

отмечал В.Ф. Райан, из-за отсутствия артиклей в русском языке невозможно понять, что имеет в виду книжник, называя духа «сатаной» или «дьяволом»⁶¹. С другой – когда «сатана» оказывается простым бесом, вряд ли имеется в виду, что он, хвастаясь, приписывал себе дела и имя своего хозяина. Скорее речь идет о хаотическом единстве всего мира падших духов: там, где присутствует бес, где творится грех, в определенной степени присутствует и сам дьявол. Бесовский мир спутан и неупорядочен – демоны не только меняют формы, но и изменяются в числе: по замечанию А.Е. Махова, во многих житиях дьявол «как бы растекается на несколько персонажей», превращается в толпу людей или сонмище бесов⁶². Провести четкие границы между разными демоническими созданиями и/или личинами иногда попросту невозможно, да и не нужно, так как прагматика текста изначально не предполагает такого членения: как в визуальной, так и в письменной демонологии функционирует множество не систематизированных образов. Средневековый дьявол изображается с помощью вариативно применяемых знаков, которые легко могут меняться местами и комбинироваться в разных последовательностях; имена и эпитеты демонов – элементы того же кода, который на семиотическом уровне призван отразить ущербную и хаотичную природу самих падших духов.

Примечания

- ¹ См. также: *Райан В.Ф.* Баян в полночь. Исторический очерк магии и гаданий в России. М.: НЛО, 2006. С. 71; *Wigzell F.* The Russian Folk Devil and His Literary Reflection // *Russian Literature and Its Demons* / Ed. by P. Davidson. N. Y.; Oxford: Berghahn Books, 2000. P. 66; *Православная энциклопедия*: В 36 т. Т. 4. М., 2002. С. 683–686; Т. 14. М., 2006. С. 381–382.
- ² *Серебряная И.Б.* Слово черт в русской мифологии и в памятниках русской письменности // *Языковая семантика и образ мира*: Тезисы междунар. науч. конф.: В 2 т. Т. 2. Казань: УНИПРЕСС, 1997. С. 288.
- ³ О датировке см.: *Антонов Д.И.* Смута в культуре средневековой Руси: эволюция древнерусских мифологем в книжности начала XVII в. М.: РГГУ, 2009. С. 290–292.
- ⁴ *Сказание Авраамия Палицына* / Подгот. текста, коммент. О.А. Державиной, Е.В. Колосовой. М.; Л., 1955. С. 115–116, 270.
- ⁵ См., например, в *Повести временных лет*: Библиотека литературы Древней Руси (далее – БЛДР): В 20 т. Т. 1. СПб.: Наука, 2000. С. 134.
- ⁶ *Рязановский Ф.А.* Демонология в древнерусской литературе. М.: Печатня А.И. Снегиревой, 1915. С. 17.

- ⁷ «Послание к некоему мужу поучительно на обеты некоего латынина мудреца». Сочинения преподобного Максима Грека, изданные при Казанской духовной академии. 2-е изд. Ч. 1–3. Ч. 3. Казань, 1897. С. 186–187. См. также: Летописи русской литературы и древности, издаваемые Николаем Тихонравовым: В 4 т. Т. 1. М.: Тип. Грачева и Комп., 1859. С. 39–40.
- ⁸ БЛДР. Т. 11. СПб., 2001. С. 356.
- ⁹ См. рассуждения о дьяволе-Левиафане у Максима Грека: Сочинения преподобного Максима Грека... Ч. 3. С. 222–226.
- ¹⁰ Отдел рукописей Национальной библиотеки Украины (Киев) (НБУ). 1, 5486. Л. 204.
- ¹¹ См., например: *Рассел Дж.Б.* Люцифер. Дьявол в Средние века. М.: Евразия, 2001. С. 76–77, 315–317; *Махов А.Е.* Hostis Antiquus: Категории и образы средневековой христианской демонологии. Опыт словаря. М.: Intrada, 2006. С. 187–189; *Он же.* Сад демонов – Hortus Daemonum: Словарь inferнальной мифологии Средневековья и Возрождения. М.: Intrada, 2007. С. 127–128.
- ¹² *Рассел Дж.Б.* Указ. соч. С. 39–41.
- ¹³ *Королев А.А., Майер И., Шамин С.М.* Сочинение о демонах из архива Посольского приказа: к вопросу о культурных контактах России и Европы в последней трети XVII столетия // Древняя Русь: Вопросы медиевистики. 2009. № 4. С. 120–121.
- ¹⁴ *Яхонтов И.* Жития святых севернорусских подвижников Поморского края как исторический источник. Казань: Тип. Имп. ун-та, 1881. С. 240–241.
- ¹⁵ *Тихонравов Н.С.* Памятники отреченной русской литературы. Собраны и изданы Николаем Тихонравовым: В 2 т. СПб.: Унив. типогр., 1863. С. 116–117. Там же. С. 142–143.
- ¹⁷ Отдел рукописей Российской государственной библиотеки (Москва) (РГБ). Ф. 304. I. № 678. Л. 310 об.
- ¹⁸ См.: Отдел рукописей Российской национальной библиотеки (СПб.) (РНБ). ОЛДП. Q. 258. Л. 317–328 (пагинация арабскими цифрами).
- ¹⁹ *Макарий, митрополит Всероссийский.* Великие Минiei Четьи. Вып. 12. Декабрь. Дни 18–23 // Памятники славяно-русской письменности, изданные имп. Археографической комиссией. I. Великие Минiei Четьи. Декабрь. Дни 18–23. М.: Изд-во П.П. Сойкина, 1907. С. 1611–1613.
- ²⁰ *Дмитрий Ростовский.* Жития святых. Декабрь–февраль. Киев: Изд. Киево-Печерской Лавры, 1695. Л. 212–216 об.
- ²¹ См., например: *Лёнингрен Т.П.* Соборник Нила Сорского: В 3 ч. Ч. 1. М., 2000. С. 326–327; Ч. 3. М., 2004. С. 568.
- ²² Там же. Ч. 3. С. 515 (Житие Пахомия Великого).
- ²³ См.: *Антонов Д.И.* Падшие ангелы vs черти народной демонологии // In Umbra: Демонология как семиотическая система: Альманах. Вып. 2 / Отв. ред. и сост. Д.И. Антонов, О.Б. Христофорова. М.: Индрик, 2013. С. 12–13.

- ²⁴ Идея активно утверждалась уже апологетами во II в., а затем развивалась многими богословами (ср.: 1 Кор. 10:20–21; Откр. 9:20).
- ²⁵ См., например, в списке «Хождения Богородицы по мукам» XII–XIII вв.: *Черная Л.А.* Антропологический код древнерусской культуры. М.: Языки славянских культур, 2008. С. 134–135; в редакциях «Слова некоего христороубца» и «Слова о том, како погани суще языци кланялися идолом» (здесь же перечень имен античных богов): *Аничков Е.В.* Язычество и Древняя Русь. М.: Академический проект, 2009. С. 453–465; в исповедальных вопросниках: *Корогодина М.В.* Исповедь в России в XIV–XIX вв.: Исследования и тексты. СПб.: Дмитрий Буланин, 2006. С. 211, 225–227, 462, 546. См. также об отождествлении в древнерусской книжности славянских языческих богов с античными и египетскими божествами: *Петрухин В.Я.* «Боги и бесы» русского Средневековья: род, Рожаницы и проблема древнерусского двоеверия // Славянский и балканский фольклор. Народная демонология. М.: Индрик, 2000.
- ²⁶ *Райан В.Ф.* Указ. соч. С. 247–248. Ср.: *Левецкий А.П.* Очерки по истории медицины // Медицинское обозрение. 1907. Т. 68. № 13. С. 145.
- ²⁷ *Корогодина М.В.* Указ. соч. С. 226, 462.
- ²⁸ Отлучение, равное отлучению убийц, на 20 лет либо же до смерти, предписывалось накладывать за «волхование и чародейство» (впрочем, в разных правилах встречались разные указания относительно сроков). См.: Энциклопедия русского игумена XIV–XV вв. Сборник преподобного Кирилла Белозерского (Российская национальная библиотека, Кирилло-Белозерское собрание, № XII) / Отв. ред. Г.М. Прохоров. СПб.: Изд-во Олега Абышко, 2003.
- ²⁹ *Корогодина М.В.* Указ. соч. С. 411.
- ³⁰ Помимо классических работ Е.В. Аничкова (впервые издано в 1915 г.: *Аничков Е.В.* Указ. соч.) и Н.М. Гальковского (*Гальковский Н.М.* Борьба христианства с остатками язычества в Древней Руси: В 2 т. Т. 2. М.: Печатня А.И. Снегиревой, 1913; Т. 1. Харьков: Епарх. тип., 1916) см. обзоры источников и историографии в: *Петрухин В.Я.* Указ. соч.; *Лавров А.С.* Колдовство и религия в России (1700–1740 гг.). М.: Древлехранилище, 2000. С. 75–88; *Левин И.* Чудеса пьянства: «хмельное питье» в русской агиографии и чудесах святых XVII века // Левин И. Двоеверие и народная религия в истории России. М.: Индрик, 2004. С. 11–36; *Белова О.В.*, *Петрухин В.Я.* Фольклор и книжность: миф и исторические реалии. М.: Наука, 2008. С. 10–39. Подбор древнерусских слов и поучений, направленных против языческих обрядов, см., например, у Н.С. Тихонравова: Летописи русской литературы и древности... Т. 1. С. 83–112.
- ³¹ К примеру, Иоанн Кассиан (IV–V вв.) писал, что фавнами люди называют насмешливых бесов, которые довольствуются озорством, и что бесы называются, среди прочих имен, кентаврами (*Св. Иоанн Кассиан Римлянин.* О непостоянстве души и о злых духах. О начальствах и властях // Мир ангелов и демонов и его влияние на мир людей: Православное учение о добрых и злых духах. М.: Дарь, 2008. С. 474–476).

- ³² Лёнигрен Т.П. Указ. соч. Ч. 3. С. 137–138. Отношение автора к этим персонажам двойственное: с одной стороны, они отождествляются с чудесными зверями, исповедующими силу Христову, с другой – с бесовскими созданиями: услышав, что «стадам» этих существ не осталось места на земле, старец радуется о «погибели сатанине».
- ³³ См.: РНБ. ОЛДП. Ф. 137. (Сборник агиографический лицевой XVII в.). Л. 355 об.
- ³⁴ Иногда встречаются оригинальные эпитеты бесов – так, они могли называться «непреподобными» (по аналогии с преподобными – праведниками): в первой части жития Адриана Пошехонского (1570-е гг.) сказано, что в белосельцев вселился «лукавый бес, непреподобный демон». Дмитриев Л.А. Житийные повести русского Севера как памятники литературы XIII–XVII вв.: Эволюция жанра легендарно-биографических сказаний. Л.: Наука, 1973. С. 206.
- ³⁵ Лёнигрен Т.П. Указ. соч. Ч. 1. С. 186. (Житие Симеона Столпника).
- ³⁶ Молдован А.М. Житие Андрея Юродивого в славянской письменности. М., 2000. С. 327, 373.
- ³⁷ Там же. С. 297.
- ³⁸ См. примеры: *Brakke D.* Ethiopian Demons: Male Sexuality, the Black-Skinned Other, and the Monastic Self // *Journal of the History of Sexuality*. 2001. Vol. 10. № 3/4. Special Issue: Sexuality in Late Antiquity. P. 501–531.
- ³⁹ Григорьев А.В. Указ. соч. С. 229 («На собор архангела Михаила»).
- ⁴⁰ Переписка Ивана Грозного с Андреем Курбским / Подгот. Я.С. Лурье и Ю.Д. Рыков. М.: Наука, 1981. С. 43.
- ⁴¹ См. об этом, к примеру: *Wigzell F.* Op. cit. P. 70; *Левкиевская Е.Е.* От предикативной формулы к имени: об одном механизме образования названий демонов в карпатской традиции // *In Umbra: Демонология как семиотическая система: Альманах*. Вып. 4 / Отв. ред. и сост. Д.И. Антонов, О.Б. Христофорова. М., 2015 (в печати). При этом «истинные» имена и эфместические наименования часто сочетаются в современных традициях. Примером может послужить украинский анклав Саратовской обл., где распространены названия *черти, бесы, дьяволы, сатаны, нечистые, шутики, рогатые*. Полевые материалы автора: экспедиции 2012, 2013, 2014 гг., сс. Самойловка, Залесьянка, Ольшанка Саратовской обл.
- ⁴² *Ковтун Л.С.* Азбуковники XVI–XVII вв. Старшая разновидность. Л.: Наука, 1989. С. 224 (статья 1247).
- ⁴³ Там же. С. 186 (статья 653).
- ⁴⁴ Там же. С. 254 (статья 1784).
- ⁴⁵ Там же. С. 169 (статья 398), 191 (статья 714), 194 (статья 766) и др. См. также: *Белова О.В., Петрухин В.Я.* Указ. соч. С. 182–183.
- ⁴⁶ *Ковтун Л.С.* Указ. соч. С. 158 (статья 199).
- ⁴⁷ *Зерцалов А.Н.* К материалам о ворожбе в Древней Руси. Сыскное дело 1642–1643 гг. о намерении испортить царицу Евдокию Лукьяновну // *ЧОИДР*. М.:

- Университетская типография, 1895. Кн. 3. С. 7; *Журавель О.Д.* Сюжет о договоре человека с дьяволом в древнерусской литературе. Новосибирск: Сибирский хронограф, 1996. С. 114–115.
- 48 *Летописи русской литературы...* Т. 1. С. 75; Отреченное чтение в России XVII–XVIII вв. / Отв. ред. А.Л. Топорков, А.А. Турилов. М.: Индрик, 2002. С. 165, 168; *Смилянская Е.Б.* Заговоры и гадания из судебно-следственных материалов XVIII в. // Отреченное чтение в России... С. 109, 119, 165; *Она же.* Волшебники. Богохульники. Еретики. Народная религиозность и «духовные преступления» в России XVIII в. М.: Индрик, 2003. С. 133.
- 49 *Белова О.В., Петрухин В.Я.* Указ. соч. С. 183.
- 50 *Журавель О.Д.* Указ. соч. С. 122; *Смилянская Е.Б.* Волшебники. Богохульники. Еретики... С. 98.
- 51 *Журавель О.Д.* Указ. соч. С. 123.
- 52 *Попов А.В.* Влияние церковного учения и древнерусской духовной письменности на мирозерцание русского народа и в частности на народную словесность в древний допетровский период. Казань: Тип. Имп. ун-та, 1883. С. 193; *Райан В.Ф.* Указ. соч. С. 360, 610. Ср.: Великорусские заклинания: Сборник Л.Н. Майкова / Послесл., примеч. и подг. текста А.К. Байбурина. СПб.: Европейский дом, 1996. С. 15.
- 53 *Смилянская Е.Б.* Волшебники. Богохульники. Еретики... С. 93, 133. См. также: *Белова О.В.* Иуда Искариот: от евангельского образа к демонологическому персонажу // Славянский и балканский фольклор... С. 344–360; *Антонов Д.И., Майзульс М.Р.* Демоны и грешники в древнерусской иконографии: семиотика образа. М.: Индрик, 2011. С. 163.
- 54 *Смилянская Е.Б.* Волшебники. Богохульники. Еретики... С. 90–97.
- 55 Отреченное чтение в России... С. 132–133.
- 56 *Райан В.Ф.* Указ. соч. С. 609.
- 57 *Журавель О.Д.* Указ. соч. С. 123.
- 58 Из последних работ, посвященных заговорам от трясовиц, бытованию и вариациям «Сисиниевой легенды» у славян, см.: *Агапкина Т.А.* Восточнославянские лечебные заговоры в сравнительном освещении: Сюжетика и образ мира. М.: Индрик, 2010. С. 534–565; 681–792; *Топорков А.Л.* Иконографический сюжет «Архангел Михаил побивает трясовиц»: генезис, история и социальное функционирование // In Umbra: Демонология как семиотическая система: Альманах / Отв. ред. и сост. Д.И. Антонов, О.Б. Христофорова. М.: РГГУ, 2012.
- 59 См. об этом: *Адоньева С.Б.* Прагматика фольклора. СПб.: Изд. СПб. ун-та, 2004. С. 114–132.
- 60 *Смилянская Е.Б.* Заговоры и гадания... С. 122–125; *Она же.* Волшебники. Богохульники. Еретики... С. 133.
- 61 *Райан В.Ф.* Указ. соч. С. 71.
- 62 *Махов А.Е.* Средневековый образ между теологией и риторикой. Опыт толкования визуальной демонологии. М.: Изд. Кулагиной: Intrada, 2011. С. 39.

И.М. Чирскова

ВЛАСТЬ И КУЛЬТУРА В РОССИИ В ПЕРВОЙ ЧЕТВЕРТИ XVIII в.: У ИСТОКОВ КУЛЬТУРНОЙ ПОЛИТИКИ

Статья посвящена взаимоотношениям культуры и власти в России первой четверти XVIII в., становлению основных направлений культурной политики. Анализируются основные формы и результаты культурной политики Петра I.

Ключевые слова: модернизация, культурная политика, насильственный прогресс, патернализм, секуляризация культуры.

В начале XVIII в. российская власть выступила в роли активного регулятора культурных процессов, руководствуясь прежде всего принципами целесообразности и необходимости. В стране, где в силу ряда серьезных причин (геополитических, социально-экономических, ментальных и пр.) роль государства чрезвычайно велика, личность носителя верховной власти приобретает особое значение. Необходимость ускоренного усвоения европейского опыта и преодоления болезненно ощущаемой дистанции между Европой и Россией определили характер, темпы и специфику петровской модернизации, выявили острую потребность в кадрах, способных ее осуществить.

Мероприятия государственной власти в области культуры – целенаправленные, но бессистемные, отражали специфику модернизационных процессов в стране и личный взгляд самодержца на проблему. Носитель власти выступал как главный творец закона, «государь рассматривался как источник закона, а закон, в идеале долженствовавший представлять собою стройную систему, на самом деле, в принципе, системой не являлся, сводясь к массе распоряжений»¹.

Ориентация власти на формирование светскости в политической и социальной культуре потребовала переопределения государственных взаимоотношений с институтом церкви. Важнейшими социальными и духовными переворотами, всколыхнувшими сознание огромного количества людей, отразившими начало кризиса средневекового мировоззрения и заставившими усомниться в легитимности существующего миропорядка, стали раскол и церковная реформа Петра. Сакрализация светских институтов, носителей власти, деятелей культуры, науки, искусства и пр. была принята как наиболее адекватная модель для народного восприятия абсолютных ценностей. «Идеи “светской святости”, – по мнению А.М. Панченко, – вполне естественные для секуляризованных верхов, постепенно проникают и в “прилежащие вере” низы»².

В 1701 г. был восстановлен Монастырский приказ, куда передавались монастыри с вотчинами и архиерейские владения³. Монахам был установлен определенный «оклад», который выплачивался из доходов церковных вотчин, поступавших в Монастырский приказ⁴. Государственная власть решала прежде всего политические задачи: подрывалась экономическая база церковного влияния, решались фискальные задачи пополнения казны. Нежелание церковных иерархов признать и одобрить реформаторскую деятельность Петра, которая рассматривалась ими как разрушение патриархальных устоев, могущих оказать влияние на «повреждение» нравов и нарушение традиций, а также субъективные причины дали дополнительный стимул к нововведениям.

Борьба с церковной оппозицией была довольно длительной. Знаменитый указ от 31 января 1701 г. о запрете монахам писать в кельях потребовал нового подтверждения и более чем через двадцать лет (19 января 1723 г.) с опорой на «прибавления» к духовному регламенту. Поборники старой веры призывались в Приказ церковных дел для регистрации, пожелавшие остаться в старой вере «записывались в платеж двойного оклада»⁵. Для внешней идентификации раскольников в 1724 г. были розданы «особые знаки» «для ношения сверх платья», а женщинам предписывалось носить «особые платья». «Бородачи, кроме крестьян», т. е. те же раскольники, получали медные знаки, которые нужно было «погодно переменять»⁶, что означало введение ежегодного налога. Все это подтверждает практицизм петровских мероприятий в области культуры.

Создание тринадцатой, духовной коллегии – Синода – завершило организационную перестройку, но не решило всех проблем духовной сферы. Идеологом церковной реформы стал приехав-

ший в 1716 г. в Петербург Феофан Прокопович, ставший в 1718 г. епископом в Пскове. Известный своими особыми взглядами на соотношение веры и знания и на место религии и церкви в обществе, он обосновал необходимость ликвидации патриаршества, введения коллегиального управления церковью и ее подчинения государству. Главными его аргументами были тезисы, что «монархов власть есть самодержавная, которой повиноваться сам Бог повелевает», а «правление церковное» должно быть установлено «монаршим указом и сенатским приговором», царь же, «помазанник божий», есть «высочайший пастырь»⁷. После смерти в 1722 г. Стефана Яворского, единственного в истории президента Синода, надзор за деятельностью духовного учреждения стал осуществлять обер-прокурор из военных или гражданских лиц⁸. «Члены» же синодальные получали государственное жалованье, не вошедшие в «штаты» церковнослужители признавались тяглыми⁹.

Подданные под страхом штрафа обязывались посещать церковь и каяться («о хождении на исповедь повсягодно, и штрафе за неисполнение сего правила...»). «О не бывших на исповеди» в Синод посылалась специальная ведомость¹⁰. Штрафом каралось нарушение «тишины в церквях во время богослужения». Наказание грозило «за похищение» денег, собранных «во время божественного пения в кошельки». Корректировался и сам ритуал службы, куда включались новые ценности: «о возношении в церковных служениях вместо Патриаршего имени Синода»; «о возгласении в священнослужении Благоверных, Правительствующий Синклит, военачальников, градоначальников и христоролюбивое воинство», и др. Духовный институт, признанный и почитаемый населением, был использован властью в чисто политических целях. Здесь читались важнейшие указы, а после Северной войны было предписано «повседневное чтение во всех церквях на вечерних, утренних и литургиях, положенной в новопечатных тетрадах эктеном о победе над супостатом»¹¹.

Регламентировалось и церковное строительство. Воспреещалось «давать грамоты без указа Его Величества», «без указа из Синода», «пришлым монахам строить вновь монастыри, и о недавании им никаких земель без указа». Строить предписывалось «храмы во имя Богородицы, Рождества, Успения», а в монастырях «каменные здания»¹². Провозглашая начала веротерпимости, уже в первый год своего правления Петр высылает иноверцев-иностранцев «за распространение соблазнительных и вредных толкований», противных православной вере¹³. Запрещая «крестить и женить шведских военнопленных неволею», креще-

ние лютеран и кальвинистов заменять «помазанием их святой миррой» и принимая ряд указов о добровольном крещении иноверцев и предоставлении новообращенным льгот¹⁴, власть в то же время заботилась о благополучии православных подданных. Так, иноверцам, имевшим православных крестьян, предписывалось принять православие, в противном случае «поместья и вотчины с людьми и крестьянами отписать на Великого Государя». Закон был категоричен и предписывал в случае, если «басурманы не крестятся, то отнять у них деревни и не отдавать»¹⁵.

Европеизация сопровождалась и радикальными изменениями в быту. Прежде всего это касалось введения практики ношения европейского платья и брадобрития. Петр стремился переодеть подданных сначала в «венгерские кафтаны», затем в «немецкие платья и обувь», а ездить «на немецких седлах»; предписал носить «парадное платье в праздничные и церемониальные дни», причем расписаны были признаки одежды по рангам вплоть до «нижних всяких чинов людей», а за образец взяты «французские камзолы и кафтаны». Далее последовал указ о «саксонском» и «немецком» платье, «неизготовлении» русского платья и «неторговании оным» под угрозой штрафа. Указ не затрагивал духовенства (исключая жен) и «пашенных крестьян»¹⁶. В XVIII в. европейское воспринималось русской культурой как нечто целостное, поэтому и европейская одежда была некой «общевропейской»: отдельные детали одежды могли быть свободно заимствованы из костюмов разных стран¹⁷.

Для усиления контроля новая одежда подлежала клеймению. Законодательно подтверждался и запрет торговать «русским платьем и сапогами» и носить «такое платье»¹⁸. Правительственная политика «переодевания», распространявшаяся на всю страну, учла, однако, климатические особенности сибирского региона, удаленность его от центра, практическую трудность контроля. Здесь жителям дозволили «носить такое платье, какое кто пожелает, и при верховой езде употреблять прежние седла»¹⁹.

Власть активно вмешивалась в личную и интимную жизнь подданных. Законодательно оговаривались брачные и имущественные отношения, устанавливался новый порядок бракосочетания, когда смотрины заменялись обручением, которому предшествовало личная встреча жениха и невесты. Крестьянам – архиерейским и монастырским – было запрещено вступать «в брак с крепостными и помещичьими девками». Порядок и условия развода, решения по доносам инквизиторов и имущественные дела «умерших священно- и церковнослужителей» также определялось указанным порядком²⁰. Своеобразной новацией в брачном законодательстве

был указ Синоду «О не принуждении родителям детей и господам рабов своих и рабынь к браку к самовольному их желанию», была даже дана форма присяги для родителей и господ²¹.

Весьма знаменательным для петровской культурной политики оказалось введение своеобразного образовательного ценза для желающих жениться²². Это свидетельствовало о значении, которое придавалось образованию на высшем уровне.

Петр I силой заставлял боярство и дворянство устраивать в домах публичные мероприятия, столы, балы, ассамблеи и др., которые были учреждены при дворе. Новые формы общения: ассамблеи, празднование викторий, знаменательных дат и событий и др., в которых принимали участие представители боярства, дворянства, купечества, городского населения, крестьянства, разрушали сословную замкнутость русского общества. Правила проведения ассамблей, поведение гостей, очередность и пр. подробно оговаривались на высшем государственном уровне²³.

Ассамблеи, введенные в конце 1718 г. как собрание людей для «своего увеселения, или для рассуждения и разговоров дружеских», стали не только формой культурного общения, но и местом, где русская женщина впервые вышла в свет. Хозяйка дома должна была вести разговоры, танцевать, уметь одеваться и причесываться на европейский манер, отвечать на комплименты. Однако процесс освобождения женщин от затворничества был очень медленным, шел с большим сопротивлением и затронул лишь верхушечные слои русского общества.

Введение в русскую культуру светского праздника стало очень важным событием. Государственный праздник объединял подданных в общем восхищении победами русского оружия, годовщины которых отмечались фейерверками, салютами, предписывалось «когда и где стрелять за прежние победы»²⁴. Зрелищные массовые мероприятия с триумфальными шествиями, с античной символикой, сценами из мифологии и истории выполняли определенную образовательную функцию.

Театральные зрелища, на которых Петр старался присутствовать лично, должны были транслировать политические и просветительские идеи своего времени. Театральные пьесы часто писались по специальному заказу царя. Придворная культура пародировала старые средневековые нормы и восхваляла новшества. Устав «всепеньейшего собора», шуточные записки и инструкции не гнушался сочинять и составлять сам царь.

Городская среда оказалась наиболее благоприятной для утверждения новой культуры. Именно город стал местом возник-

новения учреждений нового типа: светских государственных школ, Академии наук, библиотек и др. Правительственная политика охватывает все сферы жизни города. Большое внимание уделяется градостроительству, регулированию внутренней жизни, чистоте и порядку в городе, противопожарной безопасности, городской торговле и др. Менялась не только городская застройка, но и весь жизненный уклад русского города, прежде всего столиц. Старинные укрепления к началу XVIII в. обветшали, и началась постройка новых. Неоднократно горевшая старая столица должна была застраиваться преимущественно каменными домами, «недостаточные» жители могли строить мазанки. Постепенно каменная застройка Москвы формируется начиная с центра. «Каменные здания и мазанки» в Китай- и Белом городе должны были строиться «по линии». За неисполнение указа следовало наказание «лишением двора». Интенсивная застройка новой столицы запрещала «на несколько лет строить во всем государстве каменные дома». Дороговизна каменного строительства, а впоследствии и запрет способствовали появлению в Москве «мазанок из глины» вместо деревянных домов для спасения от пожара. В 1718 г. начинается частичное возобновление каменного строительства в Москве²⁵. Идея приблизить Москву к типу регулярного города способствовала тому, что старая столица приобрела некоторые элементы регулярности, но в целом продолжала оставаться городом старой застройки.

Идея регулярности в полном смысле слова была решена «сверху» принудительным, запретительным и насильственным методом при строительстве новой столицы. Сюда «из губерний и городов» прислали строителей «с принадлежащими их работе инструментами», для работников собирались деньги. Дополнительно из губерний были вызваны комиссары и мастерские люди «для изготовления материала для построения домов». Строящаяся столица постоянно требовала новых мастеров²⁶. Русская знать насильственно приглашалась в новую столицу. В 1714 г. тем, кто не «отстроится» в Петербурге «до будущей зимы», грозил штраф. В законе даже специально перечислялись «палатные люди, царедворцы, купечество и ремесленники». Строительство и заселение новой столицы шло быстрыми темпами только благодаря активному вмешательству власти. Ехать «на болота» не хотели. После возвращения Петра в Петербург в марте 1718 г. строительство города оказалось непосредственно под неустанным контролем царя, а строгая исполнительская дисциплина, подкреплённая карательными санкциями, помогала успешному строительству. На высочайшем уровне был определен и образ жизни столицы, за

соблюдением которого должен был следить генерал-полицмейстер. Тщательная регламентация жизни столицы происходила и в более позднее время. Столица европейского типа, по мнению Петра, должна была соблюдать определенные правила внутреннего распорядка. Например, предписывалось не пропускать в город, «когда шлагбаумы опущены», «без фонарей», извозчикам запрещалась езда «на взнузданных лошадях», а нищим «прошение по улицам и при церквях милостыни» и др. Власть напоминала о соблюдении порядка и чистоты, о взимании штрафа за «нечищение домовых труб», продажу «порченных съестных припасов» и пр.²⁷

Культурная деятельность Петра, как и другие его преобразования, «направлялась мыслью о необходимости и всемогуществе властного принуждения; он надеялся только силой навязать народу недостающие ему блага, и, следовательно, верил в возможность своротить народную жизнь с ее исторического русла и вогнать в новые берега»²⁸. Изданное в 1717 г. «Юности честное зерцало, или Показание к житейскому обхождению» наставляло правилам поведения в семье и обществе, не гнушаясь даже мелочными подробностями. Принципы воспитания, которые должны были способствовать формированию человека новой культуры, утверждала и книга Ф. Прокоповича «Первое учение отрока».

Необходимость ускоренного освоения европейских достижений впервые поставила вопросы образования на высший государственный уровень. Образовательная политика предполагала быструю организацию специальных учебных заведений для подготовки столь необходимых стране кадров: моряков, артиллеристов, инженеров, учителей, строителей, канцеляристов и др. Созданные «экстренным» путем учебные заведения были еще очень несовершенны, возникали бессистемно, вызванные сиюминутными потребностями государства. Не было и единого органа управления образованием, образовательные обязанности вменялись разным ведомствам и должностным лицам. Отсутствие методики и зубрежка усложняли и увеличивали сроки обучения.

Содержательная сторона обучения не была детально разработана, обозначались лишь самые общие параметры, перечислялись в лучшем случае только основные предметы. Для цифирных школ, например, указывалось лишь направление – «учить цифири и некоторую часть геометрии». Темпы, заданные реформами, не позволяли вдаваться в подробности; основным было стратегическое направление культурной политики.

Государственная школа сохраняла многие старомосковские традиции с палочной дисциплиной, полной неразработанностью

методики обучения, зубрежкой и пр. Отсутствовала и классно-урочная система, элементы которой были лишь в Славяно-греко-латинской академии. Прием в школы не был единовременным, принимались ученики разного возраста и уровня подготовки и поэтому каждый из учеников проходил обучение индивидуально, язык учебных пособий был труден и содержал множество иностранных слов. Учителя, часто иностранцы, не могли вразумительно разъяснить предмет из-за языкового барьера. Но именно петровская эпоха характеризуется созданием нового типа школы – государственной светской. Появляются учебные заведения низшего, среднего и высшего звена.

Огромная неграмотная страна остро нуждалась в людях, способных участвовать в строительстве новой державы. Приглашение иностранных специалистов проблему не решало. Петр продолжил практику, начатую еще Борисом Годуновым, посылки русских учеников за границу «ради науки». География стран, куда предполагалось отправление дворянских детей, была обозначена довольно широко: Венеция, Франция, Англия, Персия. Сюда в течение 1716–1717 гг. прибывали молодые люди «для научения морской службе» и «для учения языка, так и для лучшей практики Навигации»²⁹.

После Северной войны за границей начинают учиться и гражданским «наукам». Юноши отправляются «для обучения мануфактурному искусству», приобретения «для фабрик инструментов и машин», для обучения архитектуре, «строению фундаментов, расположению и украшению городов и деланию шлязов»; для обучения «овцеводству, стрижению шерсти, потреблению оной в дело». При этом агент фон-дер-Бург должен был за ними «надзирать»³⁰.

В это же время мастеровых людей отправляют на тульские оружейные заводы с дачей «им кормовых денег, провианта и мундира». Для обучения кожевенному мастерству из губерний присылали учеников в Москву, а также в Киевскую и в Азовскую губернии, причем «замедление» вызывало применение «жестких мер»³¹.

Петровская концепция образования изменила его содержание и направленность, впервые были созданы светские учебные заведения разного типа и уровня. Власть выступила в роли активного регулятора образовательного процесса, руководствуясь принципами целесообразности и необходимости. Практические нужды вызвали появление школ профессионального характера, которые должны были готовить необходимых специалистов. Среди них были созданные в 1701 г. Школа математических и навигацких наук и Пушкарская школа, Инженерная школа, открытая в 1712 г., и др.

Учение приравнивалось к службе, что должно было, несомненно, повысить не только престиж образования, но и ответственность учеников, которые получали кормовые деньги. Одним из успешных условий учебы была «сытость» учащихся, поэтому документы оговаривают этот вопрос наряду с запретительными мерами. Например, при организации Пушкарской школы оговаривалось, что учеников будут кормить, и наряду с учителями они будут получать «государево особое жалование и дача смотря по учению», при том что они не могли «без указа» отлучаться из Москвы и «уходить в иной чин, кроме артиллерии»³².

Однако желающих обучаться, «добровольно хотящих», было немного, поэтому государство, реализуя идею «насильственного прогресса», законодательным путем брало на учет «недорослей», особо дворянских³³. Учеников в буквальном смысле слова рекрутировали. «За утайку недорослей и убавку им лет» грозило «отписание поместий и вотчин в казну»³⁴. За серьезные проступки следовало наказание плетьюми, побег из школы грозил еще более тяжкими последствиями. Взимались «штрафы с не явившихся», их отправляли «в отдаленные города на вечное житье», а у не имеющих вотчин предполагалось «забрать вотчины у тех, у кого они живут в домах»³⁵. Необеспеченных учеников ожидали телесные наказания. Без свидетельства об образовании не выдавались «венчальные записи»³⁶, повторное же упоминание этой ограничительной меры свидетельствует о том, что закон исполнялся слабо.

Наиболее близкими по типу к средней школе были созданные на основании указа 28 февраля 1714 г. цифирные школы. Обучаться здесь должны были «дворяне приказного чина, дьячих и подьячих дети», а учить – присланные «для того в губернии ученики математических школ»³⁷. При преемниках Петра большинство этих школ были закрыты.

Интереснейшим учебным заведением (для сирот, детей бедных родителей), сумевшим отойти от узости и утилитарности, была школа, организованная Ф. Прокоповичем на собственные средства в Петербурге в 1721 г. и просуществовавшая 15 лет, вплоть до смерти основателя. Новым было наличие устава школы («Регулы семинарии...»), где определялся распорядок дня³⁸. Здесь обучались такие известные в будущем деятели русской культуры, как Г.Н. Теплов, академики А.П. Протасов, С.К. Котельников.

Документирования административной и учебной деятельности школ не было, так как сами виды этой деятельности находились в начальной стадии формирования. Есть лишь указ Петра

«О предоставлении в Сенат полугодичных ведомостей об обучающихся в школах...»³⁹.

Наиболее грамотной частью населения России по-прежнему оставалось духовенство. Еще до принятия в 1721 г. Духовного регламента, опираясь на реформаторскую деятельность Петра, некоторые представители духовенства активно включаются в образовательный процесс. Школы, созданные Иовом Новгородским, Дмитрием Ростовским, Питиримом Нижегородским и другими, внесли значительный вклад не только в духовное, но и в светское образование.

Правительственная культурная политика коснулась и проблемы женского образования. Петровский указ связал образование женщин с замужеством: «неграмотных дворянских девушек, которые не могут подписать хотя бы свою фамилию, – не венчать»⁴⁰.

Бичом русской школы были нехватка людей, могущих обучать, и отсутствие необходимых пособий. Перевод иностранных и составление оригинальных учебников осуществлялось в невиданном до этого масштабе. Однако отсутствие достаточного количества квалифицированных переводчиков, терминологические трудности осложняли этот процесс. Достижением образования первой четверти XVIII в. было издание и переиздание оригинальных учебных пособий, в том числе и наглядных: «Арифметика» Леонтия Магницкого, «Буквари» Федора Поликарпова, Извекова, Кариона Истомина, «Первое учение отрокам...» Ф. Прокоповича и др. Появились наглядные пособия, в том числе гравировальные настенные пособия: «Новый способ арифметики, феорики или зрительных», составленный В. Киприановым в 1705 г.⁴¹

Образовательная политика регламентировала создание учебных заведений разного уровня и профиля, в общих чертах обозначила программу обучения, его результат, источники финансирования, состав учащихся и учителей и др. В ней подробно регламентировались карательные аспекты для «ленящихся» или уклонявшихся от обучения, нарушавших правила или не выдержавших итоговые испытания. Однако жизнь вносила свои коррективы: отсутствие необходимого финансирования препятствовало созданию учебных заведений и должной организации учебного процесса, а несовершенство контроля давало возможность избежать наказания. Единого органа управления образованием не было, образовательные обязанности вменялись разным ведомствам и должностным лицам. Финансирование учебных заведений осуществлялось из разных источников и было весьма скудным. В то же время новая школа выполнила свою историческую, пусть и вполне утилитарную, зада-

чу по подготовке кадров и в определенной степени способствовала утверждению новой культуры. В силу российской специфики даже Академия наук приобрела учебные функции.

Интерес Петра к науке был вполне рациональным. Как неофит он наивно считал, что при желании любой наукой можно быстро овладеть. Он увлекался медициной и анатомией. Знаменитые царские «операции» вызывали у дворян чувство опасения. Научные знания в начале века были направлены на решение прикладных военных, фортификационных, астрономических (для мореходства) задач, сводились к поиску полезных ископаемых, новых путей сообщения и др. Генеральный регламент поставил перед коллегиями задачу «описать все границы, реки, города, местечки, церкви, деревни, леса и прочие» и составить «генеральные партикулярные ландшафты»⁴².

За год до своей смерти 28 января 1724 г. Петр издал указ об учреждении в России Академии наук и художеств. При Академии были созданы своеобразные «подготовительные структуры», которыми стали университет и гимназия: «к расположению художеств и наук употребляются два образа здания: первый образ называется университет; второй – академия или социетет художеств и наук». Отечественная академия возникла в русле государственной культурной политики по инициативе власти, существовала на государственных средствах, на доходы «с городов Нарвы, Дерпта, Пернова и Арнсбурга (в сумме 24 912 руб.)»⁴³. Из Германии выписали академиков, среди которых были столпы мировой науки, такие как Бернулли, Бильфингер, Герман, Эйлер. Но в Петербург они приехали уже после смерти императора.

Стремление определить место России в европейском пространстве стимулировало рост интереса к истории. Начинается работа по выявлению и сбору памятников, которая инициировалась государством в русле проводимой им культурной политики. По поручению Петра Ф. Поликарпов предпринимает попытку создать «руководство» по истории, доведя его до современности. Одной из причин, помешавших выполнить это задание, был недостаток источников.

Ряд указов свидетельствуют о переданных в Петербургкладах древних монет, о дарении предметов из курганов, о передаче «за вознаграждение» древностей. Губернаторы и коменданты получили специальные указания по сбору исторического материала: «также как старые подписи на камнях, железе или меди, или какое старое, ныне необыкновенное ружье, посуду и прочее всё, что зело старо и необыкновенно, тако ж бы приносили за что будет

довольная дача, смотря по вещи». «Куриозные вещи», купленные в Сибири, должны были поступать в Берг и Мануфактур-коллегию. В 1720-е гг. последовал ряд распоряжений об отыскании письменных источников, «о присылке из всех епархий и монастырей древних рукописных книг», «об отбирании старопечатных книг», сборе старинных денег князя Игоря⁴⁴.

В начале XVIII века создаются и первые крупные частные коллекции Я.В. Брюса, А.Н. Демидова, Д.М. Голицына, которые послужили основой будущих музейных собраний. Интерес ко всему необычному и личное увлечение царя способствовали появлению своеобразных естественных коллекций. Специальными указами было предписано приносить «родившихся уродов, также найденных необыкновенных вещей во всех городах к губернаторам и комендантам, о даче за принос оных награждение и о штрафе за утайку»⁴⁵. Знакомство с европейскими кунсткамерами стимулировало решение Петра завести у себя подобное учреждение. Так в России появился первый комплексный музей – Кунсткамера, впоследствии оказавшийся под опекой Академии наук и крупнейших академиков с мировыми именами и ставший одним из лучших музеев своего времени.

К началу XVIII в. значение печатного слова в России уже было по достоинству оценено. Поэтому одной из важнейших задач культурной политики была организация печатного дела, распространение «нужных» книг и контроль за главным в то время каналом информации. Петровское книжное производство стимулировало стремление к чтению как к своеобразному труду. Не случайно И.Т. Посошков, обращаясь к своему сыну, призывал его именно к полезному общению с книгой⁴⁶.

Книга из разряда почитаемого переходит в разряд читаемого, а «читатель благочестивый» уступает место «читателю разумному, трудолюбивому». Сознвая политическое и стратегическое значение печати и ее роль в распространении светской культуры, Петр I содействует формированию программы изданий, лично определяет, кому и что выпускать. Сначала типография была организована в Амстердаме под руководством Яна Тесинга и Ильи Копиевского⁴⁷. Но необходимость в большом количестве нужных для преобразований книг определила организацию печатного дела в самой России. Московский Печатный двор, «гражданская» типография В.А. Киприанова сыграли большую роль в становлении типографского дела в России. Введение в 1708 г. гражданского шрифта, упрощенного по графике, более компактного и пр., стимулировало развитие издательской деятельности и приобретение светской кни-

гой целостности, органического сочетания формы и содержания. Это нововведение имело не столько технический характер, сколько стало серьезным идеологическим актом. Церковный язык утратил господствующее положение в структуре русского литературного языка. Произошло разграничение функций шрифтов, новый шрифт упростил работу наборщика и стимулировал издательскую деятельность.

Книга, становясь атрибутом повседневной жизни, должна была ориентировать не всегда просвещенного читателя. Фронтиспис давал общее представление о характере книги, титульный или заглавный лист уточнял сведения и сообщал выходные данные. Дополнительные сведения о книге предоставляли оглавление, именные и предметные указатели, иллюстрации, чертежи, схемы и нововведенная разбивка текста на абзацы. В книге первой четверти XVIII в. не всегда присутствовали все элементы, но тенденция к их наличию со временем возрастала. Это способствовало росту познавательной и информационной ценности книги и помогало читателю лучше и быстрее ориентироваться в возросшем объеме книг. Практическая направленность меняла внешний вид книги: она стала компактнее.

Новопечатные книги собирались в архиве Сената, для сохранения их был издан специальный указ⁴⁸. В связи с неразработанностью терминологии перевод книг был крайне труден, переводчиками становились специалисты соответствующих областей знания. Указ 1715 г. нацеливает на необходимость «приискание из приходных людей, как наиболее образованных» «от всех коллегий по одному человеку», которые могли бы заняться переводом книг по юриспруденции, лексикону и пр.⁴⁹ Царский указ 1721 г. фактически констатировал расширение межкультурного диалога с европейскими странами. При Сенате должен был появиться «типографический печатный стан иностранных языков», а при нем предписывалось оставить «искусного переводчика и секретаря»⁵⁰. Перевод столь необходимых для страны книг продвигался медленно, что заставило Петра для ускорения процесса предложить чисто практические, утилитарные меры. В «Указе трудяющимся в переводе экономических книг» (1724 г.) он сетует на «немцев», наполняющих книги «многими рассказами негодными», и указывает, что сам «выправил» (т. е. сократил), «дабы по сему книги перевозены были без лишних рассказов, которые время толку тратят и у чужих охоту отемлют»⁵¹.

Огромное значение правительство предавало новому элементу новой русской печатной культуры – газете. «Ведомости»⁵²

внесли значительный вклад в формирование своеобразной и очень условной, но все же «гласности». Петровская газета, круг читателей которой по сравнению с предшественником был значительно шире, информировала о «заграничных и внутренних делах», много говорила о военных событиях. Помимо культурной составляющей (информационная функция, формирование языка русской прессы и др.) основной задачей официальной газеты была задача политико-воспитательная.

Своеобразная секуляризация русской книги, нахождение ее в руках власти определяло и репертуар отечественной печатной продукции. Не менее важным, чем производство печатной продукции, является и ее распространение. «Нужная» книга (учебная, узко-профессиональная, научно-прикладная, военно-инженерная и пр.) не всегда была востребована. Проблема реализации новой книги была в том, что производство обгоняло спрос; новизна тематики не стимулировала популярность; учебная литература не всегда была востребована, так как светские образовательные учреждения еще только создавались, да и длительная война способствовала обнищанию населения, а книга еще не успела стать предметом первой необходимости. Тем не менее можно отметить, что в первой четверти XVIII в. начинает складываться новый тип деятеля культуры: книгоиздатель, переводчик иностранных книг, редактор. Сам царь активно участвовал в издательской деятельности, требовал от авторов и переводчиков оперативности, четкости в изложении материала и краткости.

Уважение Петра к печатному слову сказалось и в том, что он выступил инициатором сбора и сохранения древних русских книг. Именно он издал первый в России подобного рода указ⁵³. Согласно новым задачам правительства ряд старопечатных книг отбирались, исправлялись и перепечатывались⁵⁴.

Одной из главных функций культурной политики с самого начала формирования этого феномена стал контроль и надзор. Несмотря на то, что институт цензуры еще не оформился, тем не менее печать не была обойдена пристальным «вниманием» власти. Главным цензором, в руках которого было сосредоточено издательское дело страны, был Петр, который выступал и в роли издателя и заказчика. Мимо царя не проходила ни одна печатная строчка. Он подкупал заграничную печать для восхваления себя, России, для полемики с врагами и пр., не допускал «сокрытия в переводах» негативных высказываний о стране⁵⁵. Монопольная власть государства на главный канал информации освобождала от дополнительной строгой цензуры. Однако наличие в стране негосударственных

типографий (Малороссия, Киев, Чернигов) ставило вопрос о контроле над ними. Так, например, книги, напечатанные «без дозволения», привлекли внимание власти. И было предписано не печатать «других никаких книг ни прежних, ни новых изданий, не объявляя об оных Духовной коллегии, и, не взяв от оной позволения» ... «не печатать», чтобы не могло «никакой церкви Восточной противности и с Великокороссийскою печатью несогласия произойти»⁵⁶.

В 1721 г. надзор за всем, касающимся религии, был возложен на Синод, который должен был следить, «нет ли какого в письме оном погрешения, учению православному противного». Этот документ впервые законодательно регламентирует отечественную печать. Тогда же под контроль попали изображения служебников и канонов, лубочных картинок «под страхом жестоко ответа и беспощадного штрафования»⁵⁷. Говоря о контроле над изображениями, можно отметить и указ об «искусном» писании портретов императорской фамилии⁵⁸, о чем заботились и последующие отечественные властители.

Такая сфера культуры, как благотворительность, в петровское время так же была делом государственным. Правительственная политика предусматривала: «определение в домовые Святейшего Патриарха богадельни нищих, больных и престарелых», покупку им лекарств; устройство «при церквях гошпиталей для незаконно-рожденных детей» и дачу «им и их кормилицам денежного жалования»; создание «цухтгаузов» (смирительных домов), госпиталей и сиротских домов, лазаретов для содержания больных; отдачу «в богадельни слепых и престарелых, являющихся при переписи»; раздачу «безродных младенцев на воспитание с вечным за воспитателем укреплением», запрет посылать «сумасбродных и в уме помешанных в монастыри»; расходы на содержание «нищих и сирот» в монастырях и пр.⁵⁹

Политика в области социальной и интеллектуальной культуры была подчинена задачам петровской модернизации, помогала реализации экономических, стратегических, политических и идеологических задач власти. В первой четверти XVIII века был приобретен опыт и навыки культурного строительства. Были созданы учреждения культуры, как в центре, так и в провинции. Многие из них, появившиеся как специальные или отраслевые, быстро принимали на себя и другие культурные функции и превращались в центры притяжения культурных сил, объединяли творческих людей, привлекали интересующихся знаниями, наукой, литературой, искусством и пр., что в целом расширяло пространство культуры России.

- ¹ Лотман Ю.М., Успенский Б.А. К семиотической типологии русской культуры XVIII века // Из истории русской культуры: В 5 т. Т. 4 (XVIII – начало XIX века). М., 1996. С. 437.
- ² Панченко А.М. Церковная реформа и культура Петровской эпохи С. 11–12 // Электронная библиотека ИРЛИ РАН [Электронный ресурс]. URL: <http://lib.pushkinskijdom.ru/Default.aspx?tabid=7495> (дата обращения: 01.10.2015).
- ³ Полное собрание законов Российской империи. Собр. 1-е (далее – ПСЗРИ I). Т. IV. СПб., 1830. С. 133. № 1829.
- ⁴ Там же. С. 181–182. № 1886.
- ⁵ Там же. Т. V. СПб., 1830. С. 200. № 2996; С. 687. № 3340; Т. VI. СПб., 1830. С. 169. № 3547; С. 248–249. № 3662; С. 493–495. № 3891; С. 518–520. № 3925; С. 678–681. № 4009; С. 791. № 4121; Т. VII. СПб., 1830. С. 21–22. № 4162; С. 300. № 4526; С. 341. № 4553; С. 351–352. № 4575; и др.
- ⁶ Там же. Т. VII. С. 368. № 4596.
- ⁷ Там же. Т. VI. С. 314–346. № 3718.
- ⁸ Там же. С. 721–722. № 4036.
- ⁹ Там же. С. 312. № 3712.
- ¹⁰ Там же. Т. V. С. 166. № 2991; Т. VI. С. 513–514. № 3914; С. 737–742. № 4052.
- ¹¹ Там же. Т. IV. С. 139–140. № 1834; С. 227–228. № 1948; Т. VI. С. 355–356. № 3734; С. 436. № 3829; С. 481–483. № 3882; С. 718. № 4029; Т. VII. С. 6. № 4140; С. 96–97. № 4277; и др.
- ¹² Там же. Т. III. СПб., 1830. С. 450. № 1629; Т. IV. С. 159–160. № 1839; Т. VI. С. 670. № 3991; С. 791–792. № 4122; Т. VII. С. 32–33. № 4186; С. 79–80. № 4249.
- ¹³ Там же. Т. III. С. 39–40. № 1351; Т. IV. С. 192–195. № 1910.
- ¹⁴ Там же. Т. V. С. 163. № 2920; С. 520–521. № 3121; С. 679. № 3325; С. 680. № 3300; С. 726–727. № 3410; Т. VI. С. 234–235. № 3637; С. 736. № 4048; С. 792. № 4123; и др.
- ¹⁵ Там же. Т. V. С. 66–67. № 2734; С. 71. № 2741; № 2920.
- ¹⁶ Там же. Т. III. С. 402–403. № 1598; Т. IV. С. 1. № 1741; С. 183. № 1888; С. 183–184. № 1899; С. 272–273. № 1999.
- ¹⁷ Зимой «верхнее платье саксонское, а исподнее, камзолы, штаны, сапоги и башмаки, немецкие», «летом носить одно французское», «женщинам немецкое...» (Там же. Т. IV. № 1999).
- ¹⁸ Там же. С. 397. № 2175; Т. V. С. 137. № 2874.
- ¹⁹ Там же. Т. IV. С. 362–363. № 2132.
- ²⁰ Там же. С. 191–192. № 1907; С. 200. № 1920; Т. VII. С. 40–43. № 4190.
- ²¹ Там же. Т. VII. С. 197–198. № 4406.
- ²² Там же. Т. V. С. 78. № 2762; С. 86. № 2778; Т. VI. С. 643–644. № 3949.
- ²³ Там же. Т. V. С. 597–598. № 3246.
- ²⁴ Там же. Т. VII. С. 134. № 4327.

- 25 Там же. Т. IV. С. 131–312. № 1825; С. 243. № 1963; С. 306–307. № 2051; С. 452. № 2232; С. 581. № 2306; С. 837. № 2531; С. 838. № 2534; С. 846. № 2548; С. 868–869. № 2591; Т. V. С. 115. № 2825; С. 126. № 2848; С. 135. № 2868; С. 535–533. № 3147; и др.
- 26 Там же. Т. IV. С. 527. № 2282; С. 678–680. № 2362; Т. V. С. 72. № 2744; С. 105. № 2808; С. 126–127. № 2850; Т. VII. С. 300–301. № 4527; С. 385. № 4617.
- 27 Там же. Т. V. С. 569–571. № 3203; С. 575–576. № 3210; С. 586–587. № 3226; Т. VI. С. 120–121. № 3494; С. 160. № 3535; С. 195–196. № 3589; С. 387. № 3779; С. 432–433. № 3822; С. 264. № 3676; С. 381–383. № 3777; Т. VII. С. 186–187. № 4391; и др.
- 28 *Ключевский В.О.* Исторические портреты: деятели исторической мысли / Под ред. В.А. Александрова. М.: Правда, 1990. С. 191.
- 29 ПСЗРИ I. Т. IV. С. 550–551. № 2292; Т. V. С. 189. № 2978; С. 200. № 2997; С. 201. № 2999; С. 484. № 3058; С. 489. № 3067.
- 30 Там же. Т. VII. С. 181–182. № 4381; С. 250. № 4459; С. 358–359. № 4584.
- 31 Там же. Т. VI. С. 67. № 2736; С. 104. № 2806; С. 495–496. № 3087; С. 684. № 3335.
- 32 *Бранденбург Н.Е.* Материалы для истории артиллерийского управления в России. СПб., 1876. С. 241.
- 33 ПСЗРИ I. Т. IV. С. 240–241. № 1959; С. 817–818. № 2497; С. 857. № 2569; Т. V. С. 20. № 2652; С. 74–75. № 2751; С. 86–87. № 2779; и др.
- 34 Там же. Т. IV. С. 241–242. № 1960.
- 35 Там же. С. 256. № 1978; № 2497; Т. V. № 2652; и др.
- 36 Там же. Т. V. № 2762; № 2778; и др.
- 37 Там же. № 2778.
- 38 *Чистович А.Я.* Феофан Прокопович и его время. СПб., 1868. Приложения. С. 723–727.
- 39 ПСЗРИ I. Т. VII. С. 225–226. № 4447.
- 40 *Лотман Ю.М.* Очерки по истории русской культуры // Из истории русской культуры. Т. 4. С. 247.
- 41 *Краснобаев Б.И.* Очерки истории русской культуры XVIII века. М.: Просвещение, 1972. С. 49–52.
- 42 ПСЗРИ I. Т. VI. С. 141–160. № 3534.
- 43 Там же. Т. VII. С. 220–224. № 4443.
- 44 Там же. Т. V. С. 541–542. № 3159; Т. VI. С. 383–387. № 3778; С. 277. № 3693; С. 390. № 3784; С. 511–512. № 3908.
- 45 Там же. Т. V. № 3159; С. 542. № 3160.
- 46 *Семёнова Л.Н.* Очерки быта и нравов в России в первой половине XVIII в. Л., 1982. С. 107.
- 47 Программа включала издания: «европейския, азиацкия и американския земныя и морския картины и чертежи, и всякие печатные листы и персоны, и о земных и морских ратных людей, математическая, архитектурския и городо-

строительныя и иныя художественныя книги ... печатать к славе Великого Государя ... и ко всеобщей народной пользе и прибытку, и ко обучению всяких художеств и ведению...» (ПСЗРИ I. Т. IV. С. 6–8. № 1751).

48 О присылке в Сенат из Санкт-Петербургской типографии всех гражданских и прочих книг, которые будут печатаны по два экземпляра (Там же. Т. V. С. 670. № 3316).

49 Там же. С. 186. № 2967.

50 Там же. Т. VI. С. 451. № 3843.

51 *Вознесенский Н.А.* Законодательные акты Петра I / Под ред. Б.И. Сыромятникова. М.; Л., 1945. С. 148.

52 О печатании газет для извещения оными о заграничных и внутренних происшествиях (ПСЗРИ I. Т. IV. С. 201. № 1921).

53 О посылке из всех епархий и монастырей древних рукописных летописей и подобных книг в Москву в Синод (Там же. Т. VII. № 3908).

54 Об отбирании харатейных старопечатных книг и о выдаче их новоисправленных печатных; Об употреблении в новопечатных книгах новых названий с наказанием прежних именовании против строк на поле (Там же. Т. VI. № 3784; Т. VII. С. 102. № 4285).

55 *Скабичевский А.М.* Очерки истории русской цензуры (1700–1863). СПб., 1892. С. 6–7.

56 ПСЗРИ I. Т. VI. С. 244–245. № 3653.

57 Там же. № 3718; С. 373. № 3765.

58 О писании портретов Императорской Фамилии людям искусным в живописи (Там же. Т. VII. С. 520–521. № 4748).

59 Там же. Т. IV. С. 168. № 1856; Т. V. С. 128. № 2856; С. 181. № 2953; Т. VI. С. 124. № 3502; С. 291–309. № 3708; С. 782. № 4107; Т. VII. С. 110. № 4296; С. 139–141. № 4335; С. 207. № 4426; С. 226–233. № 4450.

ПРЕОБРАЗОВАНИЕ
ЦАРСКОСЕЛЬСКОГО ПАРКА
В ПАРК КУЛЬТУРЫ И ОТДЫХА
В 1930-х годах

Статья посвящена важному эпизоду в истории садово-парковой культуры России, а именно, преобразованию Царскосельского парка в новый тип публичного досугового пространства, сформировавшийся в годы культурной революции, – в парк культуры и отдыха. Обстоятельства и механизмы трансформации английского пейзажного парка в парки культуры и отдыха реконструируются и анализируются на основе архивных материалов, а также периодических изданий раннесоветской эпохи.

Ключевые слова: садово-парковая культура, интеллектуальная история советской культуры, Детское Село, культурная революция.

Советизация культуры в 1930-х годах не была стратегически продуманной, последовательно реализовывавшейся программой. Многие в эпоху первых пятилеток решалось на ходу. Хаотический характер этих перемен неоднократно описывался в художественной, документальной и исследовательской литературе. Советские инновации строились не как реструктуризация старого культурного контекста или его риторическая трансформация. Их можно описать как переозначивание культурных практик и явлений, т. е. как поиск новых форм и функций элементов культуры в разгар борьбы за «новый быт».

Одним из наиболее ярких эпизодов культурной революции было создание парков культуры и отдыха (ПКиО) в Москве, Ленинграде и Петергофе¹. История этих проектов помогает реконструировать ключевые обстоятельства и концепты культурного строительства, развернувшегося в СССР в 1930-х годах. Советизация Детского Села была в меньшей степени связана с официальной

программой реформ и с идеологией. Этот город должен был быть преобразован в курортно-досуговую сферу нового типа, организованную по аналогии с городом-садом Эбенезера Ховарда². Изменения, которые пережил садово-парковый архитектурный ансамбль Царского Села, сформировавшийся в XVIII–XIX вв., свидетельствуют о трансформации историко-культурного контекста столь же явственно, как поэма Жака Делиля «Сады». Ю.М. Лотман в комментариях к этому тексту и в статье о нем реконструировал социокультурную ситуацию конца XVIII – начала XIX в., в которой новшества садово-парковой культуры и полемика о новых садовых стилях и вкусах играли существенную роль³. Создание детскосельского ПКиО – не менее яркий материал для этого раздела интеллектуальной истории.

Данная статья – попытка описать начало советизации Детского Села. Переозначивание элементов повседневной жизни и публичной сферы происходило одновременно в нескольких социально-культурных пространствах, которые абсурдным образом сосуществовали друг с другом, несмотря на то что сама их совместимость кажется мало вероятной. С одной стороны, в прессе шла оживленная дискуссия о том, как трансформировать Детское Село в город-сад, несмотря на то, что повседневная жизнь бывшей императорской резиденции в 1930-х годах была устроена по принципам коммунального общежития и вовсе не соответствовала представлениям английских социально-утопических урбанистов начала XX в. Столь же абсурдным в данной ситуации было и то, что в осуществленных проектах преобразования Детского Села за образец был взят немецкий луна-парк. Это плохо согласовывалось как с концепцией города-сада, так и с местным коммунальным бытом. Переживая эти противоречия во всей их полноте, Царское Село становилось советским садово-урбанистическим пространством.

Полемика о городе-саде

1930-е годы для бывшего Царского Села были временем многочисленных преобразований, зачастую не менее невероятных, чем жизнь страны в период первых пятилеток. Город, переименованный после революции в Детское Село, постепенно становился главным курортным центром в окрестностях Ленинграда. Дворцы и парки, принадлежавшие императорской семье и знати, стали музеями и «зонами культурного отдыха», открытыми для всех слоев населения. Детское Село сыграло свою роль в помпезном и абсурдном

праздновании 100-летия со дня смерти Пушкина: в 1937-м городу было дано имя поэта. Это было не последнее переименование, грозившее бывшей царской резиденции. После смерти Максима Горького обсуждалась инициатива назвать детскосельские парки в честь писателя, возглавившего культурную революцию (Большевицкое слово. 1938. 2 апр.). Первый советский парк культуры и отдыха – знаменитый Парк Горького – был образцом для многих садово-парковых проектов 1930-х годов. По всей видимости, по аналогии с московским ЦПКиО в 1936 году разрабатывался грандиозный план «единого культурного зеленого массива Детское Село – Слуцк», который объединил бы бывшие резиденции в Царском Селе и Павловске (Социалистический пригород. 1936. 1 янв.). План этот не был реализован, но он был далеко не единственной утопической фантазией о новой жизни царскосельских садов.

Если Екатерининский парк рассматривался как исторический памятник, который необходимо оберегать от нового быта, Александровский парк, напротив, ждало преобразование в парк культуры и отдыха. Именно в нем были сосредоточены спортивные, досуговые и развлекательные площадки. В 1940 году руководители Антирелигиозного музея, Пушкинского и Павловского дворцов-музеев обсуждали вопрос о создании в Александровском парке луна-парка⁴. Против этого выступал знаменитый писатель-фантаст Александр Беляев, долгие годы живший в Детском Селе: «Мы проявили бы непочтительность к его <Пушкина> имени, если бы в парках, где расцветал его гений, внедрили бы рестораторы <...>». А. Беляев был убежден, что сад «не совместим с продажей пива и дешевыми аттракционами в стиле мещанских лунапарков». Писатель предложил альтернативный вариант реконструкции – создание Парка чудес – «нечто вроде Дома занимательной науки и техники». В Парке чудес могли бы быть отдел звездоплавания с «подковой», дающей на мгновение ощущение невесомости, Сен-Сирской каруселью, «кориолисовым ускорением», вращающимися шарами, иллюстрирующими центробежные силы, безвоздушными камерами «мирового пространства» Циолковского. Беляев мечтал о постройке ракетодрома, где каждый смог бы посетить аттракцион «космический полет в ракете» (Большевицкое слово. 1938. 28 нояб.). Советский фантаст начал полемику, в ходе которой ему было предложено разработать площадки и аттракционы для детского городка (Большевицкое слово. 1940. 3 марта). Война помешала реализации этих идей. Фантазии поклонника Жюль Верна и Константина Циолковского остались на страницах местной городской газеты.

Среди невероятных проектов преобразования Детского Села особой популярностью пользовалась идея создания здесь города-сада. Об этом говорили и представители власти, и писатели, и дизайнеры. Председатель местного райсовета некто Капустин на прениях о культурном развитии города призывал: «Надо превратить Детское Село в подлинно социалистический город, город здорового отдыха» (Социалистический пригород. 1935. 3 янв.). С подобных инициатив и начиналось строительство здесь санаторно-курортной зоны в 1930-х годах. А. Беляев предавался утопическим грезам о том, каким должен быть этот город, в фантастическом рассказе, опубликованном в местной газете: «Пушкин стал подлинным городом-садом, городом-здравницей и городом науки. <...> Все промышленные предприятия выведены за черту городу, по ту сторону железнодорожного полотна. <...> Город вмещает десятки санаториев, домов отдыха и детских домов. <...> Здесь, в тишине, среди парков, прудов и лесов, как некогда в старом Гейдельберге, процветает наука» (Большевицское слово. 1939. 1 янв.). Писателю Вячеславу Шишкову, который в эти годы тоже жил в Пушкине, казалось, что этот город-сад существует не в мечтах, он уже есть в реальности, это идеальный город будущего. Композитор Даниил Френкель вспоминал, как однажды во время прогулки в парке Вячеслав Шишков сказал ему: «Вот когда-нибудь все города будут у нас, как этот парк. Помяните мое слово... много воздуха, зелени, – простор человеку нужен. Будущие социалистические города – это города-сады, и это обязательно будет»⁵.

Вряд ли председатель райсовета и советские писатели собирались реализовать под Ленинградом концепцию социального урбанизма Эбенезера Ховарда, который считается автором и главным пропагандистом идеи городов-садов. Ни знаменитый ховардовский план-магнит, ни другие элементы его проекта в дискуссии о реконструкции Детского Села не фигурируют. Вместо этого мы слышим в словах партийных руководителей и творческой интеллигенции энтузиазм строителей социализма, одна из формул которого была создана Владимиром Маяковским: «Через четыре года здесь будет город-сад» (стихотворение «Рассказ Хренова о Кузнецкстрое и о людях Кузнецка»). Преобразования Детского Села и Пушкина были частью утопического проекта первых пятилеток. Этот город планировалось сделать удобным для отдыха, лечения и творчества. Некоторым романтично настроенным реформаторам казалось, что для этого было бы достаточно разбить в нем много цветочных клумб. Городской садовод Лаговский, буквально понимавший концепт города-сада, на страницах пушкинской газеты писал: «Наш

город должен стать городом-садом. Цветы должны быть всюду: в садах, на балконах, у окон, в комнатах. Не должно быть ни одного сада без цветов» (Большевистское слово. 1939. 12 мая).

Коммунальный быт

Детскому Селу в начале 1930-х и Пушкину в конце десятилетия было необходимо не только озеленение. И город, и парк находились в запущенном состоянии. В прессе тех лет постоянно печатались материалы о плачевном состоянии привокзальной площади. На это сетовал, в частности, литературовед Лев Коган: «Даже въезд в наш город, привокзальная площадь, безобразна, грязна и убога: вот почему первая встреча с городом Пушкина производит тяжелое впечатление. Разве так уж трудно привести эту площадь в порядок, сделать ее нарядной. И разве не здесь место статуе Пушкина, нашего Пушкина, жизнелюбца, бойца, любимого народ и умевшего творить для него. Разве не он должен встретить эти тысячи людей, приезжающих почтить его память. Пока что их встречают уродливые ларьки, да пивная...» (Большевистское слово. 1938. 5 марта).

Парк тоже нужно было приводить в порядок. «Пруды заболачиваются, покрываются тиной, огромные стволы повреждены короедами», – возмущался журналист газеты «Социалистический пригород» (1935. 30 марта). Были разрушены некоторые мосты, в парке не доставало скамеек. «Даже такой бытовой вопрос – как уборная – и он “висел в воздухе”» (Социалистический пригород. 1934. 30 марта). Н.П. Сергеева – в первой половине 1930-х директора детскосельских дворцов-музеев и парков – нередко критиковали за беспорядок в ведении хозяйства и окрестили «неистовым комбинатором». Автор разгромной статьи в духе раннесоветских проработок писал: «вводная комната в екатерининский дворец превратилась в антихудожественный паноптикум, где уживаются одновременно диаграммы, кубистические панно и театрально-декоративная группа» (Социалистический пригород. 1934. 22 сент.). Впрочем, именно этот директор пытался бороться с хулиганством в парке, что было далеко не просто. Население вырубало садовые насаждения. В начале весны 1934 года было открыто восемь судебных дел о «порубке деревьев» (Социалистический пригород. 1934. 18 марта). Осенью того же года «группа хулиганов пыталась унести с постамента ... Александра Сергеевича Пушкина» (Социалистический пригород. 1934. 22 сент.).

В музее нередко случались кражи. Список пропаж в отчете дирекции за 1937 год раззадорит любого kleптомана: «яйцо аметистовое, коробочка миниатюрная с изображением лягушки, перочистка, миниатюрная фотография, бокальчик хрустальный, металлический стаканчик»⁶. Можно быть уверенным в том, что Константин Вагинов, описывая дикий быт детскосельского санатория в романе «Бамбочада» (1931), не сильно сгущал краски. Граффити на стенах «увеселительного павильона», поразившие воображение героя романа Евгения, не были в эти годы диковинкой. Приведем некоторые, особенно колоритные: «Отец с сыном во время своего отдыха посетили этот чудесный уголок», «Табуреткин дальше отказался говорить. 12.V.1929», «Здесь прождал Петров Александр. 1/1-30 г.»⁷.

Одной из самых болезненных проблем для Детского Села в те годы были рестораны, открытые в Камероновой галерее, Александровском дворце и садовых павильонах. Руководство музея боролось за то, чтобы эти помещения отдали под экспозицию или библиотеку, но до войны этот вопрос решить не удалось: «В Ферме должны были торговать исключительно молочными продуктами. Вместо этого трест столовых торгует здесь исключительно спиртными напитками» (Большевицкое слово. 1939. 24 июня). Пресса писала о том, что эти рестораны по ценам были сравнимы с дорогой «Асторией» в центре Ленинграда, но при этом были не очень хороши (Социалистический пригород. 1934. 18 марта). Михаил Кузмин в своем дневнике за 1934 год тоже отмечал, что в Камероновой галерее «дороговато и не очень вкусно»⁸. Рабковровский материал из местной газеты – наиболее выразительное свидетельство того, что готовили в таких заведениях плохо: «директор кафе-столовой т. Бульон <...> снят с работы за низкое качество продукции при завышенном сырьевом наборе, за незнание основных правил кулинарии и за отсутствие руководства производством» (Большевицкое слово. 1938. 12 апр.).

Другим камнем преткновения были коммунальные квартиры во дворцах и садовых павильонах. В Камероновой галерее на 1934 год жило около ста человек, в бывшем лице – около тысячи. Заселены жильцами были также Зубовский и Церковный флигели и Китайский дворец (Социалистический пригород. 1934. 18 марта; 15 мая). В некоторых коммуналках жило 20–30 человек (Большевицкое слово. 1938. 4 апр.). Выдержка из газетного материала дает достаточно полное представление об обстановке, царившей в этих зданиях (Социалистический пригород. 1934. 15 мая):

В б<ывшем> Церковном флигеле <...> уборные без воды, во флигеле – зловоние. Раковина в квартире 6 загрязнена. Кухонным очагом почти не пользуются. Употребляются примуса, что совершенно недопустимо, т. к. кв. 6 и 7 непосредственно примыкают к музейным помещениям дворца.

В Зубовском флигеле <...> развешивают и стирают белье. Жилые помещения Зубовского флигеля непосредственно соприкасаются с Купольным залом и Китайским залом и являются причиной появления сырости и порчи китайских лаковых панно.

В Камероновой галерее, в нижнем этаже, занятом жильцами, в наиболее антисанитарном состоянии находится коридор, не имеющий освещения. При входе в коридор мозаичный пол от колки дров разрушен. Отсутствуют стекла в дверях. Во многих местах вместо стекла – тряпки, фанера. Жильцы на подстриженных кустарниках развешивают белье. Из окон на кустарник выбрасываются мусор, помои. Стирка белья приводит к сырости в помещениях дворца. Кроме того, чрезвычайная скученность проживающих в Камероновой галерее создает пожарную опасность. Разрушается посторонними жильцами и помещение Китайского дворца.

В середине 1930-х начались дискуссии о том, как вернуть эти помещения детскосельскому музейному комплексу. 1 января 1934 г. вышло постановление ВЦИК о выселении «посторонних жильцов из дворцов-музеев» (Социалистический пригород. 1934. 30 марта). Чиновники и пресса пытались его реализовать. В 1935 г. «Детскосельский горсовет создал комиссию для освобождения Пушкинского лицея от частных жильцов» (Социалистический пригород. 1935. 16 июля). Но решена эта проблема будет только после войны. В конце 1930-х Лицей по-прежнему оставался коммунальной жилплощадью. Журналист «Большевистского слова» описывал его так: «В нижнем этаже на одной из дверей красуется плакат с надписью “Корь”. Подымаемся на четвертый этаж, где была комната поэта. В широком длинном коридоре обнаруживаем два чулана из свежего теса. На их дверцах надписи: “для мужчин”, “для женщин”» (Большевистское слово. 1939. 30 дек.).

Наиболее любознательные туристы стремились попасть в комнату 15, где, по преданию, жил лицеист Пушкин. Как правило, такие истории заканчивались анекдотически (Большевистское слово. 1938. 6 апр.):

Расспросив предварительно экскурсовода <...>, экскурсанты находят комнату поэта. Робкий стук в дверь... Несколько мгновений и снова стук.

– Скажите, это комната Пушкина? Позвольте нам взглянуть...
<...> Из-за двери раздается недовольный голос, осыпаящий экс-курсантов бранью.

Новый досуг

Впрочем, не стоит сгущать краски и думать, что быт жителей Детского Села и Пушкина был устроен из рук вон плохо. Коммунальные ужасы были только одной из сторон жизни периода первых пятилеток. 1930-е годы были также эпохой беспрецедентного коллективного энтузиазма и эксперимента по созданию нового общества. Парки культуры и отдыха были площадкой строительства новой социалистической реальности. В ПКиО посетителей посвящали в премудрости коммунистической идеологии, им разъясняли азы социалистического общежития, предоставляли информацию о текущей политической ситуации, а также приобщали их к спорту и разным формам культурного досуга. В Детском Селе так же, как в Москве, Ленинграде и Петергофе, одним из главных жанров садово-парковых мероприятий стали народные гуляния. Грандиозные празднества устраивались на новые советские праздники – например, в День Конституции (6 июля). Газета «Социалистический пригород» анонсировала это событие так: «Будет проведен большой карнавал в костюмах народов, населяющих Советский Союз. На спортивном поле выступят студенты орденоносного института физкультуры им. Ленина. На детскосельских прудах будет организовано катание на лодках с оркестрами музыки. В парке будут организованы массовые игры, пение и танцы. В парке будут играть три оркестра музыки» (Социалистический пригород. 1935. 6 июля). Перечислим некоторые гуляния, которые проводились в Пушкине во второй половине 1930-х годов: «Гулянье, посвященное Займу укрепления обороны СССР», «Оборонно-физкультурное гуляние», «Районный митинг-гуляние, посвященный Избирательному закону Социалистического Государства»⁹.

В программу этих мероприятий также могли быть включены митинг, кросс, фехтование, гимнастика (Большевицкое слово. 1938. 14 мая). С середины 1930-х к ним прибавились упражнения по гражданской обороне. В 1938 году «8 марта в ознаменование Международного коммунистического женского дня Райкомом ВЛКСМ и Райсоветом Осоавиахима был проведен пеший поход женщин в противогазах на дистанцию 3 км». В нем приняло участие более 300 человек (Большевицкое слово. 1938. 21 марта).

Пожалуй, самым грандиозным массовым мероприятием довоенного времени стала инсценировка боев с войсками Юденича, которые шли в районе станции Александровская в 1919 году. Инсценировка была осуществлена в июне 1939 года в Баболовском парке, в ней участвовали 30 тыс. посетителей. Парк был украшен лозунгами, флагами, на стендах были представлены достижения Осоавиахима, инструкторы рассказывали посетителям об истории обороны Петрограда. Вот как описывает эту историческую постановку журналист пушкинской газеты (Большевицское слово. 1939. 18 июня):

В полдень началась инсценировка «боя». Баболовский парк превратился в «город», осаждаемый «противником». Разведка донесла, что «противник», находящийся на Пулковских высотах, пошел в наступление. В «городе» вводится угрожаемое положение. Слышится гул приближающихся самолетов. Раздаются пронзительные звуки сирен. Воздушная тревога! Еще несколько секунд – и все люди в противогасах. Они быстро скрываются под деревьями, маскируются.

Но вот показались самолеты. Бреющим полетом они проносятся над «городом». Сразу в нескольких местах раздаются оглушительные взрывы. Семь дегазационных, пять пожарных и три восстановительных команды быстро локализуют «пожары» <...> Бойцы медико-санитарной службы выносят «раненых» из «очага поражения», оказывая им первую помощь. «Пострадавших» от «иприта» отправляют на обмывочный пункт. <...>

Часть наземных сил «противника» <...> появилась на одной из опушек парка. <...> Осоавиахимовские части устроили дымовую завесу, подпустили «противника» на близкое расстояние, а затем забросали его гранатами и мощным штыковым ударом опрокинули «врага». После того, как атака была отражена, был организован митинг, плавно перешедший в парад и танцы, затянувшиеся до полуночи.

Помимо массовых мероприятий в Детскосельском парке была организована программа спортивного и культурного отдыха. Здесь можно было сдать нормы ГТО, устраивать пикники, купаться, посещать лекции и выставки, проводить время за чтением книг из местной читальни или уединиться в тихом месте. Во второй половине 1930-х годов досуговое пространство сада было разбито на сектора. Летом 1938 года была открыта «физкультурная база с баскетбольной и шестью волейбольными площадками, гимнастическим городком, футбольным полем», а также лодочная станция и «консультационные пункты по вопросам текущей политики»

(Большевистское слово. 1938. 21 марта). На «базе культурного отдыха» у горы Парнас в Александровском парке можно было взять напрокат гамаки, шезлонги, коврики, бильярд, шахматы, шашки, волейбольные мячи, спортивные гранаты для метания на дальность, примусы, сковородки и самовары, патефоны с пластинками, гитары и балалайки (Большевистское слово. 1938. 6 июня).

Для пикников была отведена специальная «зона» у Драконова мостика в Александровском парке (Большевистское слово. 1939. 18 апр.). В Собственном садике был восстановлен фонтан, бездействовавший с 1917 года, и устроен «сектор тихого отдыха» (Социалистический пригород. 1935. 8 июля). Накануне войны планировалось организовать филиал Публичной библиотеки в Камероновой галерее или Китайском дворце¹⁰ (Большевистское слово. 1940. 12 янв.). Рестораны и закусочные постепенно освобождали садовые постройки. Вместо пивной в Турецком павильоне в 1935 году был открыт шахматно-шашечный клуб. В то же время открывшийся в Гроте магазин «Гастроном» стал одним из наиболее популярных мест Детского Села в конце 1930-х годов.

Одним из любимых развлечений тех лет были прыжки с парашютом. В Александровском парке под парашютную вышку использовалось здание Арсенала. В 1937 году, согласно годовому отчету управления дворцами и парками, к услугам посетителей были также аттракционы «воздушная дорога», «летающие люди», «демонстрировались фильмы на воздухе»¹¹.

В Концертном зале регулярно проходили «лекции по вопросам литературы, музыки, текущей политики» (Социалистический пригород. 1935. 8 июля). Некоторые выступления носили характер идеологического инструктажа, как, например, лекция на тему «Иностранная разведка, шпионаж и диверсия на службе империализма», которую посетило около 800 человек¹². Выставки зачастую тоже несли на себе отпечаток времени. Достаточно перечислить несколько названий: «Оборона Красного Петрограда» в Александровском дворце (Большевистское слово. 1939. 12 июня), «Если завтра война» в Доме обороны (Большевистское слово. 1939. 18 апр.), «Ленинград к концу второй пятилетки» в Екатерининском дворце (Социалистический пригород. 1934. 30 марта). В Царском Селе была открыта выставка, посвященная юбилею Пушкина. Постоянная же экспозиция екатерининского дворца была дополнена новыми сюжетами, связанными с историей «труда и быта подневольных строителей» Царского Села¹³. Над исследованием этой темы в конце 1930-х годов работали многие научные сотрудники музея¹⁴.

В культмассовой работе пушкинского ПКиО не ладилось с затейничеством. В отчете о деятельности музея за 1937 год описан такой абсурдный эпизод: «Присланный в начале сезона УДПЛ затейник Метелкин, по распоряжению того же УДПЛ, был отстранен от работы, как не имеющий квалификации. Присланный вместо этого затейник Исурина была нами отстранена от работы, как не соответствующая своему назначению, и только затейник Мамонтов, работающий у нас с 5 августа, несколько более соответствовал своей работе»¹⁵.

В Детском Селе также было много детских санаториев, во время войны в Испании именно здесь был организован приют для испанских детей (Большевицкое слово. 1938. 4 апр.), в парке возле Китайского дворца был построен детский городок. Михаил Кузмин писал о городе счастливого детства не без сарказма: «Я сидел на берегу пруда. На другом берегу проходила... да, процессия, иначе как этим торжественным словом нельзя назвать то, что я увидел. Парно шли почти голые, стройные отроки лет шестнадцати и девушки лет 19<-ти> с высокими коленками в коротких белых одеждах. Шли быстро и стройно <...> Вблизи оказался Дет<ский> дом. Мальчики лет по 6 в трусах с кретиническими и преступными лицами, девочки лет по 9–10»¹⁶.

История преобразования Царского Села в город-сад – это история о расхождении между полемикой о проектах урбанистического развития, повседневной жизнью Детского Села и нововведениями, которые пережили парк и город в годы первых пятилеток. В этих несоответствиях, в этих процессах разновекторной направленности складывалась новая форма существования сада. Вместо создания садово-утопического пространства в духе идей Эбенезера Ховарда Детское Село трансформировалось в здравницу со спортивным комплексом и «базами» культурного досуга. Вторая мировая война разрушила эту жизнь с ее коммунальной дикостью, коллективистским энтузиазмом и верой в несбыточные мечты. Послевоенная реставрация многое изменила в бывшей императорской резиденции, которую так и не успели окончательно преобразовать в советский ПКиО. Именно в период восстановления Пушкина и был воссоздан тот царскосельский парк, который мы знаем сегодня.

- ¹ См.: *Кухер К.* Парк Горького. Культура досуга в сталинскую эпоху. 1928–1941. М., 2012; *Savickij S.* Kultivierte Erholung versus Reflexion: Funktion und Wahrnehmung des Parks von Peterhof Mitte der 1930er Jahre // *Die Gartenkunst.* 2013. 25. Jg. Heft 1: Gartenkultur in Russland / Hrsg. von A. Ananieva, A. Veselova und G. Gröning. S. 239–248; рус. пер.: *Савицкий С.А.* Формирование парка культуры и отдыха в Петергофе // *Новое литературное обозрение.* 2014. № 2 (126). С. 132–140.
- ² *Ebeneser H.* Garden Cities of Tomorrow. L., 1902.
- ³ *Делиль Ж.* Сады. Л., 1988.
- ⁴ ЦГАЛИ. Ф. 276. Оп. 1. Д. 37. Л. 11.
- ⁵ Московская 9. Дом Малышева (писателя Шишкова) // Энциклопедия Царского Села [Электронный ресурс]. URL: <http://tsarselo.ru/yenciklopedija-carskogo-sela/adresa/moskovskaja-9-dom-malysheva-pisatelja-shishkova.html#.VtiKlkCnFZh> (дата обращения: 09.09.2015).
- ⁶ ЦГАЛИ. Ф. 411. Оп. 4. Д. 1. Л. 40.
- ⁷ *Вагинов К.* Козлиная песнь. Романы. М., 1991. С. 357, 359.
- ⁸ *Кузмин М.* Дневник 1934 года. СПб., 2011. С. 37.
- ⁹ ЦГАЛИ. Ф. 411. Оп. 4. Д. 1. Л. 26а.
- ¹⁰ Там же. Д. 4. Л. 12а.
- ¹¹ Там же. Д. 1. Л. 4–4а.
- ¹² Там же. Л. 27.
- ¹³ Там же. Д. 4 Л. 19.
- ¹⁴ Там же. Ф. 276. Оп. 1. Д. 37. Л. 11.
- ¹⁵ Там же. Ф. 411. Оп. 4. Д. 1. Л. 33.
- ¹⁶ *Кузмин М.* Указ. соч. С. 64.

ПОЛИТИК КАК ДРУГ:
КОНСТРУИРОВАНИЕ
ПОЛИТИЧЕСКИХ ДИСКУРСОВ
В БРИТАНИИ XVII века

В центре внимания автора находится сфера «политического», ее трансформация в раннее Новое время и связанная с этим потребность в конструировании новых политических дискурсов. В статье анализируется концепт «друг» и рассматривается трансформация дружеских дискурсов в документах английского парламента XVII столетия, через призму которых прослеживается формирование нового политического порядка и конструирование адекватных политических дискурсов.

Ключевые слова: дружба, друг, враг, политическое, дискурс, субъект политики, английский парламент, Английская революция.

Глубокие трансформации сферы политического в раннее Новое время давно привлекают внимание исследователей. После выхода в свет работ Карла Шмитта¹ и в особенности полемизировавшего с ним Жака Деррида², определивших сферу политического через понятие дружбы, появилось и немало исследований, касающихся соотношения дружеских и политических дискурсов в культуре раннего Нового времени. Все они, как правило, посвящены анализу определенной модели властных взаимоотношений, которая может быть описана в рамках дружеского дискурса.

Рассуждения, почерпнутые в эпоху Ренессанса из античных сочинений о дружбе, способствовали не только развитию идеала «частной» дружбы, но и активному задействованию дружеских дискурсов в политической сфере. Но значимость и функции этих политических дружеских дискурсов варьировались в разных европейских культурах и даже внутри одной культуры. Как от-

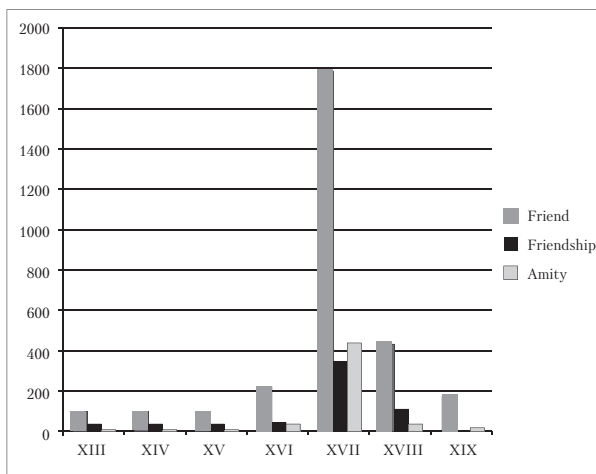
мечает Л. Шеннон, «дружба работает как мощная и убедительная разновидность политических представлений. ...Можно выделить два типа ее образных актов: один вызывает утопическое видение человеческой вовлеченности (видение согласия), а другой в конечном итоге предлагает прагматическую стратегию для различных мнений и достоинств (проводник советов)»³. Эти два вида политической дружбы можно соотнести с двумя моделями отношений, которые могли обозначаться как «дружеские» и которые восходят к античным практикам: дружба между равными по статусу субъектами и дружба иерархическая, построенная по модели патрон–клиент. Их смысловое разведение и даже противопоставление (но все же не противоречие) свойственно политической культуре раннего Нового времени⁴. И оно связано не только с трансформацией сферы политического, но и с изменениями частной и публичной сфер, стимулировавшими переосмысление понятия «дружбы». Все это не могло не оказать своего влияния на то, кто мог именоваться «другом» в политических дискурсах и выступать в качестве субъекта дружбы. Неудивительно, что предметом изучения в современных исследованиях, как правило, становится специфика отношений между разнообразными субъектами дружбы как политическими акторами.

В данной статье предлагается несколько иной ракурс рассмотрения. В качестве отправной точки будет выступать ситуация политического и социального конфликта, определившего всю историю XVII столетия в Британии и способствовавшего переформулированию самого понятия «политического». За основу исследования взяты документы одной из ключевых сторон этого конфликта – парламента Англии, которые свидетельствуют о том, что состояние острого политического конфликта, трансформировавшего пространство политического, требовало и конструирования нового языка описания складывавшейся ситуации.

Британский интернет-портал «British history on-line» фиксирует резкое увеличение числа использования слов *friend* (друг) и *friendship, amity* (дружба) в документах парламента, которое приходится на XVII столетие⁵.

Этот очевидный скачек отчасти вызван существенным ростом документации, но даже с учетом этого фактора свидетельствует об активном использовании дружеского дискурса в политической сфере. Это становится очевидным в сопоставлении с более поздними эпохами – XVIII и особенно XIX столетием. Для того чтобы сформулировать некоторое объяснение этому явлению, необходимо проанализировать, в каких ситуациях и для описания каких

отношений в XVII столетии парламентарии задействовали дружеский дискурс. Это в свою очередь требует небольшого экскурса в историю дружеских политических дискурсов.



Современные исследователи выделяют несколько основных типов взаимоотношений, в рамках которых тот или иной субъект политики мог быть определен в качестве «друга». Модели дружбы, заимствованные в античности, находят применение прежде всего в сфере дипломатии раннего Нового времени, где субъектами политической деятельности являются властители и государства. Рэндалл Лесаффер отметил большое количество упоминаний о дружбе в международных договорах о мире и союзнничестве середины XVI – середины XVII в., что, по его мнению, свидетельствует о нарушении существовавшего до сих пор политического порядка. Отсылки к дружбе оказываются необходимы в период постепенного формирования нового порядка, основанного на идее суверенитета государств, и исчезают в конце XVII в., когда этот новый порядок устанавливается⁶. «Дружба», субъектами которой выступали как основные договаривавшиеся стороны, так и их союзники, подразумевала мирное взаимодействие и выполнение ряда взаимных обязательств. Подробнейший разбор бытования понятия «дружба» в европейской дипломатии дает Евгений Рощин⁷. Среди множества прослеживаемых изменений он, в частности, отмечает появление новых коллективных субъектов дружбы, которое было связано с Английской революцией, установлением протектората Кромвеля и признанием Объединенных провинций как самостоятельного

политического образования⁸. Эта трансформация связана с еще одним немаловажным изменением в именовании «другом» субъекта политической деятельности. Рощин отмечает, что с появлением новых, абстрактных субъектов политики, прежде всего «государства» (речь в данном случае идет об общих политических концепциях), в английском политическом дискурсе появляется потребность различить «дружбу» между королями (суверенами) как индивидами, которая обозначается как *friendship*, и более общие отношения в публичной сфере, определяемые как *amity*⁹.

Если мы обратимся к тому, кто мог стать субъектом дружбы в сфере внутренней политики (при всей условности такого деления для раннего Нового времени), мы также увидим значительные трансформации. Ренессансное видение сферы политики предполагало противоборство и взаимодействие отдельных волей, в котором целью государя было укрепление власти и авторитета, а также снискание чести и славы. Как отмечает Квентин Скиннер, эта «слава» великого правителя включала в себя много аспектов – «заботу» об интересах подданных, справедливость, отсутствие (по меньшей мере видимое) жестокости, разумное ограничение своеволия с учетом мнения «мудрых» и «преданных» советников и т. п. Добиться этого мог политик, к которому благосклонна фортуна и который обладает необходимым набором добродетелей – *virtus*¹⁰. В силу этого гуманисты уделяли столько внимания вопросам воспитания принцев и их взаимоотношениям со своим ближайшим окружением.

Вопрос о том, возможна ли дружба с государями, был одним из наиболее обсуждаемых в конце XVI – XVII в. С одной стороны, античный идеал дружбы был неразрывно связан и вопросами власти и общественного устройства. С другой – основополагающие черты ренессансной концепции дружбы – сходство, равенство и суверенность друзей – делали затруднительным применение этой модели к властным взаимоотношениям в условиях монархии. И, тем не менее, дружеский дискурс оказывается важным механизмом противопоставления идеального правителя тирану. Идея дружбы могла быть соотнесена лишь с тем правителем, *vir virtutis*, который с должным уважением относится к своим подданным. Внимание монарха к ценностям дружбы было знаком того, что он не является тираном. С другой стороны, на основании соответствия идеалам дружбы можно было провести и различие между истинным советником государя и льстецом.

Как убедительно показывает исследование Лори Шеннон, таковой дружеский дискурс был очень влиятелен в Британии конца XVI века, то есть в эпоху «после Генриха VIII». По мнению иссле-

довательницы, «применявшаяся скорее в межличностных отношениях воплощенной в одном лице власти, нежели в политических дискурсах власти парламента, дружба предлагает форму коммуникации или совета, адресуемую потенциально тиранической власти, стратегию, приводимую в действие через ассоциацию с дружеским моральным дискурсом искренности»¹¹.

Другой стороной в этих властных дружеских отношениях выступает мудрый и преданный советник, который, в отличие от льстеца, не преследует собственных интересов, не стремится извлечь частную выгоду из отношений с государем, но радеет об общем благе, каковое и должно снискать государю подлинную славу. Л. Шеннон подчеркивает значимость для ренессансного видения дружбы концепта подобия, сходства, которое сильно трансформировало представления о дружеских отношениях между субъектами разного статуса, прежде всего в отношениях монарха и его «друзей». Отчасти полемизируя с Ж. Деррида, исследовательница утверждает, что этот дружеский дискурс не дает никаких механизмов к обобщению опыта отношений пары друзей на общество, на отношение друг к другу коллективных политических субъектов. Однако, отмечает она, «не предлагая – сама по себе – никакой картины более широкой политики равенства, дружба вместо этого работает как различительный интерпеллятивный дискурс, тот, который поддерживает различающиеся роли суверена и субъекта, но начинает тонко переоценивать их власть»¹².

Французский историк Морис Дома подчеркивает значимость для раннего Нового времени другого тезиса – что «игры включения-исключения, при помощи которых она [дружба. – А. С.] формируется, являются образующим принципом власти»¹³. Эта функция дружеского дискурса оказывается не менее значимой во взаимоотношениях монарха и его приближенных. В то же время, исследователь отмечает, что во Франции рубежа XVI–XVII столетий эта разновидность политического дружеского дискурса не получила большого развития¹⁴.

М. Дома отмечает еще один существенный пласт дружеского политического дискурса, обозначавшего «связи» при дворе и в системе управления государством. Он также связывает значимость этого дискурса с ренессансным видением политики: «Если политика рассматривается как переменчивый результат стратегий акторов, то дружба, которая является преобладающей силой в ткани социальных взаимодействий, играет важную роль в ее освоении»¹⁵. В этой связи «другом» мог быть именован тот, кто включен в систему взаимоотношений, образующих группу (клан, клиентелу

и т. п.), которая может представлять собой политическую силу, ассоциируемую с волей и позицией отдельного персонифицированного политического актора.

Существенная трансформация политических дискурсов обычно ассоциируется с так называемой гоббсовской революцией в формулировании сферы политического. В основе нового видения политики лежит не взаимодействие отдельных волей, а понятие суверенного государства, а также «общества», основанного на определенной модели взаимоотношений между людьми. Традиционно понятие «дружба» использовалось для описания мира и согласия членов общества. Томас Гоббс, а затем и Джон Локк ставят в центр своих концепций эгоизм, или себялюбие, как основную силу, побуждающую людей объединяться в общества. Однако при всем различии их подходов идея дружбы (существенно и по-разному переосмысленная) продолжает занимать важное место в видении социального устройства, где субъектами дружбы оказываются члены общества.

Как известно, Гоббс отвергает тезис Аристотеля о природной дружественности людей. Человек в его представлении стремится приобретать себе друзей в силу того, что они приносят ему определенную пользу, и по той же причине признает за дружбой большую ценность. Как отмечает Джон Скотт, и дружба, и государство являются в интерпретации Гоббса союзами власти, заключаемыми ради взаимной выгоды, но их существенное отличие заключается в том, что государство основано на общественном договоре, определяющим взаимные обязательства, тогда как дружба покоится на даре¹⁶. Таким образом, каждый дружеский поступок возможно описать как добровольный дар, который может быть отвергнут. И это существенно отличает дружбу от государства, в котором любой поступок регламентируется системой взаимных обязательств. В то же время Д. Скотт утверждает, что дружба представлена в политической концепции не как цель, а как средство достижения определенной цели – власти, которая также является средством, а не конечной целью¹⁷.

Более того, дружба непосредственным образом связана с тем, что люди именуют «добродетелями» – образцами поведения, основанными на законах природы и разума и способствующими поддержанию мира. Дружеское поведение, не обусловленное формальной системой обязательств, являет собой свободный и разумный выбор той модели поведения, которая способствует общему благу в ущерб сиюминутному собственному эгоистическому благу.

Основываясь на суждениях Гоббса и полемизируя с ними, Джон Локк высказывает тезис о том, что естественное эгоистиче-

ское стремление к благу склоняет людей не к войне, а к общению друг с другом. Однако это природное дружелюбие и чрезмерная социабельность становятся предметом его критики как опора тиранической власти. Локк противопоставляет этой нерефлексивной природной дружественности модель рациональной гражданской/благовоспитанной (*civil*) дружбы, в которой симпатии умеряются и направляются суждениями разума. Дружба и благовоспитанность в концепции Локка создают модель отношений в обществе, основанную на уважении к чужому мнению. Позднее ее назовут либеральной: «Мне кажется, – пишет Локк, – *при различии мнений* всем людям следовало бы соблюдать *мир* и выполнять общий долг человечности и *дружелюбия*»¹⁸. Кроме того, Нэнси Армстронг и Леонард Тенненхаус отмечают, что идея общественного договора у Локка с необходимостью предполагает осознание человеком всех положительных и отрицательных последствий подчинения общим законам¹⁹. Сама нравственность заключается в рассудочном подчинении человеком своих желаний и поведения естественным законам, установленным Богом. Соответственно индивид, действующий в согласии с природной дружественностью, но подчиняющий ее контролю разума, является основой гражданского общества и становится субъектом политики.

Задействованность, функции и эволюция этих разных дружеских дискурсов в политическом пространстве в значительной степени были обусловлены политическим конфликтом середины XVII столетия, послужившим толчком к конструированию нового понимания политического. И сама эта конфликтность, определявшая политический климат, заслуживает отдельного рассмотрения. Далее, учитывая все эти основные модели взаимоотношений в пространстве политики, репрезентировавшихся в XVII столетии через обращение к понятию «дружба», мы попытаемся проследить ситуацию конфликта, сохранявшуюся до конца столетия, по документам английского парламента как одной из его сторон.

Увеличение числа упоминаний о «дружбе» (*friendship, amity*) в значительной мере обусловлено употреблением этого понятия в дипломатических документах при описании взаимоотношений государств и монархов. Субъектами такого рода дружбы в парламентских документах выступают не только государи, но также «нации», «содружества» и «парламенты». Например: «столь желательный союз и дружба (*union and friendship*) между двумя содружествами не были достигнуты»²⁰; «забота и сохранение взаимной дружбы между нациями (*mutual Friendship betwixt the Nations*) обеих сторон»²¹; «до-

брососедство, дружба и общение (*good Neighborhood, Friendship and Correspondence*) с вышеуказанным парламентом»²².

Также возрастает и число упоминаний о дружбе между частными лицами в речах/показаниях или прилагаемых к рассмотрению документах. Последнее обстоятельство оказывается значимым и во много более впечатляющем росте числа употреблений слова *friend*. Упоминания о разного рода частных дружеских отношениях (в самых разных значениях) в рассматриваемых в парламенте документах («близкий друг», «друзья и родные», «заступник» (*next friend*), «любящий друг» (в подписях частных писем) и т. п.) составляют большую часть от общего числа употреблений слова *friend*, что свидетельствует о значимости этого понятия в культуре XVII века в целом. Но эти случаи в еще большей мере, нежели упоминания о «дружбе» в сфере дипломатии, можно считать заимствованием из иных дискурсивных практик, не имеющих прямого отношения к пространству внутренней политики.

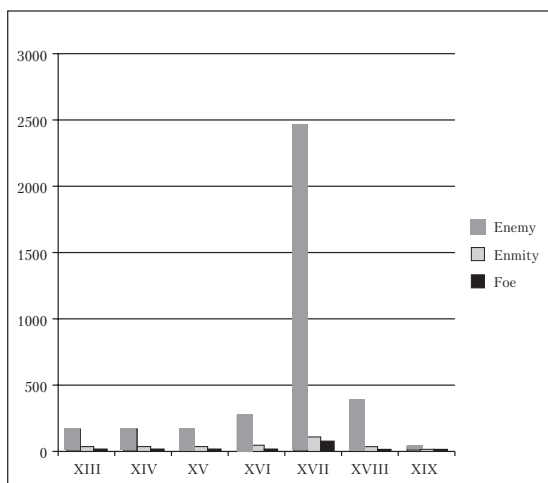
Помимо этого, слово *friend* начинает активно использоваться и в специфически политических дискурсах, присутствуя в составе не употреблявшихся ранее выражений или выражений, изменивших свое значение. Эти изменения напрямую связаны с трансформациями в собственно политической сфере, начало которым было положено в период политического раскола, связанного с Реформацией, но ставшего особенно значимым в контексте противостояния парламента и короны. Здесь мы тоже можем увидеть появление абстрактных, коллективных субъектов дружбы.

В связи с Реформацией и особенно начавшимися гонениями на католиков наличие этого идейного (религиозного, а потому политического) расхождения дополняет и проблематизирует традиционные «дружеские» связи клиентелы и родства, привнося в это определение новое понимание единства и связи, определяемой не по отношению к человеку или роду, а по отношению к идее: «Все его друзья и родные (*all his friends and kinsfolks*) либо паписты, либо рекузанты»²³. В политических дискурсах XVII столетия будет очень актуально обозначение сторонников иной (преимущественно) веры как друзей, в особенности «папистов» и прочих диссентеров: «Аткинс, хотя и не является папистом, может быть их другом (*friend of papists*)»²⁴.

В отличие от иных модификаций дружеского дискурса в сфере политического рассматриваемого периода, именование «другом» использовалось здесь не для маркирования включенности субъекта в ограниченный элитарный круг субъектов политики. Но речь идет о попытках разграничить это самое пространство на

новых основаниях, не связанных с персонифицированными политическими акторами.

Так же как в международных договорах раннего Нового времени намечается все более четкое противопоставление «друзей» и «врагов»²⁵, во внутреннем политическом пространстве нарастает необходимость маркировать принадлежность к различным противоборствующим политическим силам, которые выступают как коллективные субъекты политики. Наравне с увеличением числа использования терминов дружбы, в документах парламента заметно и столь же резкое возрастание частоты употребления понятий «враг» (*enemy, foe*) и «вражда» (*enmity*)²⁶.



Как и в случае с «дружбой», возрастает именно количество именованний коллективного или персонифицированного субъекта политики в качестве «врага»²⁷, и очевидно, что эти всплески взаимообусловлены. Однако выражения «враг» и «друг» папистов или иной политической оппозиционной силы имеют разные функции в политическом дискурсе. Слово «враг» (*enemy*) в период гражданской войны и революции отсылает прежде всего к военному противостоянию.

В большинстве случаев употребление термина *enemy* в парламентских документах XVII века относится к периоду открытого вооруженного противостояния Короны и Парламента. Его использование не только обозначает противную сторону в военных действиях, но одновременно придает действиям этой противной стороны и любого, кто к ней присоединится, нелегитимный характер.

«Каждый, кто станет злоумышлять или строить планы или затевать предательство, капитуляцию или выдачу врагу (*enemy*) или, против правил войны, сдаст, оставит или выдаст любой город, склад, форт, гарнизон или силы, которые ныне, или когда-либо в будущем будут находиться под властью Парламента, будет наказан смертью»²⁸.

Исходя из текстов парламента нельзя сказать, что «враг» это тот, кто напрямую противопоставляется «другу»²⁹. Хотя в принципе такая оппозиция в известном смысле необходима в состоянии конфликта, их прямое противопоставление в тексте встречается не часто. Маркирование кого-то как «друга» формирует общность, за границей которой находятся не только «враги», но все те, кто не может быть причислен ни к тем, ни к другим.

На волне обострявшегося конфликта в 40–50-е гг. – время гражданской войны, революции и Протектората – в парламентских документах начинает активно использоваться выражение «друг/друзья Парламента» (*friend/friends to the Parliament*). Таковыми могли быть названы иностранные корпорации, государства или их представители, поддерживавшие парламент как легитимного представителя власти. Это употребление также можно соотнести с дипломатическими дружескими дискурсами. Но равным образом как «друзья Парламента» могли быть охарактеризованы отдельные лица внутри страны, поддерживающие политику парламента: «олдермен Уиттл, истинный друг Парламента (*a very Friend to the Parliament*), ныне усопший»³⁰. «Друг Парламента» это не просто тот, кто не является политическим противником. Это понятие предполагает активные публичные действия в поддержку парламента и его армии – финансовую, материальную, административную, равно как шпионаж, участие в военных действиях, публичные выступления и т. п. Соответственно, им не мог считаться тот, кто «не проявил и не провозгласил себя другом Парламента»³¹. В политическом поле не «симпатии», а именно действия, поступки обретают значимость и могут быть репрезентированы как проявления «дружбы», и они же будут подвергаться критике или высмеиваться политическими противниками с целью дискредитации самого парламента через действия, порочащие его сторонников. Так в бумагах парламента в одном из писем, помеченных как «перехваченные», есть следующее суждение об одном из деятелей:

Сэр, мне сказали, что Бэмпфилд был хорошим другом парламента (*the Parliament's good friend*), подделывая подпись и печать короля и добывая секретные сведения о намерениях лордов в Хайленде, и он

разгласил больше, чем знал, и больше чем они имели смелость или порядочность совершить³².

Аналогичным образом статус «врага» обретается через прямое и активное действие, наносящее урон «друзьям»:

Если он (губернатор острова Джерси. – А. С.) приговорит к смерти любого из Друзей Парламента (*any of the Friends to the Parliament*), то за каждого из них трое заключенных парламента будут повешены³³.

Только в силу совершения таких активных действий, создающих оппозицию «друзей» и «врагов», и те и другие оказываются в пространстве «политического».

В этом контексте в парламентских документах появляется и выражение «друзья Короля» (*King's friends*). Если до сих пор так именовали ближайших советников монарха, оказывавших влияние на его решения (вполне в духе гуманистических непарламентских дискурсов), его «клиентов» или тех иностранных монархов, которые поддерживают «дружбу» с Англией, то теперь «друг Короля», так же как и «друг Парламента» обозначает любого активного политического сторонника («на острове Скай все еще остается несколько истинных друзей Короля, которые с остатками королевских друзей в Атоле, Аргайле и Сифорде будут командовать во всем остальном Хайленде»³⁴). Хотя по понятным причинам в документах парламента такое определение встречается гораздо реже, нежели «друг Парламента».

Интересно, что несмотря на старую форму обозначения, характеризующую «Парламент» и «Короля» не только как субъектов дружбы, но и как объектов политической поддержки и привязанности, в действительности речь идет не о приверженности «персоне» короля или парламента, а о поддержке той концепции власти, которую каждый из них репрезентирует. Если в ренессансных дискурсах «дружба с Королем» обозначала отношения между двумя индивидами, то теперь выражения «друг Парламента» или «друг Короля» обозначают отношения множества индивидов к определенной политической концепции, соотносящейся с образом парламента или короля соответственно.

Их противопоставление теряет былую актуальность с реставрацией монархии, и эти выражения (в таком значении) постепенно исчезают из парламентских документов. Однако почти пятнадцатилетняя традиция описания сторонников одной политической концепции в качестве «друзей» дала о себе знать. В период Рестав-

рации пространством полемики между сторонниками и противниками короля вновь становится парламент. Соответственно более важным становится определение тех или иных политиков внутри тела парламента и появляется выражение «друзья такого-то в парламенте» («сила друзей Денби в палате лордов»³⁵; «было очень много друзей в палате общин (*a great many Friends in the House of Commons*), которые выступили бы за него»³⁶), в котором соединяются традиционные представления о дружбе как «связях», основанных на родстве или клиентеле, и отношений, объединяющих сторонников одной политической идеи.

Ключевым событием, продемонстрировавшим наличие в парламенте двух противоборствующих политических сил, становится политический кризис 1679–1681 гг., разразившийся вокруг «Билля об исключении»³⁷. Именно к нему историческая традиция возводит формирование политических партий, получивших название «виги» и «тори» (активное использование этих терминов в документах парламента начинается со времени другого политического кризиса, вылившегося в Славную революцию). Тогда разделение на два противоборствующих лагеря внутри парламента было маркировано как «друг» или «враг» Билля («я был другом этому Биллю»³⁸), и постепенное оформление политических партий происходило через сплачивание «друзей» на основе единой позиции по каждому новому вопросу, которая становилась новым критерием для демаркации границ внутри политического пространства.

Вместе с тем необходимость предотвращения повторного острейшего политического кризиса и выработки новых норм политического взаимодействия делают актуальными такие категории, в рамках которых и виги, и тори могли репрезентировать себя в качестве «достойных политиков», заботящихся о процветании государства, но понимаемом не как прочность королевской власти, а скорее как прочность власти, отражающей интересы подданных. В этой связи в последние три десятилетия XVII века наряду с сохранившимся определением «друг Короля» начинают применяться такие эпитеты, как «друг Королевства», «друг Содружества», «друг Нации» и т. п. Эти определения появляются чаще всего в негативном контексте («не друг») по отношению ко всем тем, кто поддерживает решения, не отвечающие интересам общества. Причем, как правило, так характеризовали не конкретное лицо, а потенциального «идеального» оппонента – *Другого* – по отношению ко всему «легитимному» политическому сообществу:

Тот, кто станет подавлять движение «жалобщиков», не является другом короля или королевства (*He is no Friend to King nor Kingdom*)³⁹; тот, кто делает правление тяжким для народа, не является другом ни ему, ни королю⁴⁰.

В марте 1677 г. в палате общин даже возникла небольшая дискуссия относительно того, можно ли считать «друзьями нации» всех тех, кто участвует в дебатах, т. е. высказывает сомнения или несогласие с точкой зрения, поддерживаемой большинством. В итоге было решено, что из этого понятия следует исключить только тех, кто извне пытается навязать палате общин определенную позицию⁴¹. Однако эта конструкция, в отличие от той, что использовалась в годы гражданской войны, уже не предполагает существования за пределами множества «друзей нации» никакого нейтрального сообщества, которое не рассматривалось бы в качестве «врага». Неслучайно на период политического кризиса 1679–1681 гг. и последующие годы приходится второй всплеск употребления слов вражды. Все те, на кого можно было возложить ответственность за то, что Билль был отвергнут королем и палатой лордов (и прежде всего лорд Джордж Севиль, маркиз Галифакс, чьему красноречию и влиянию по большей части приписывали этот провал), были признаны «врагами Короля и Королевства» (*Enemy to the King and Kingdom*)⁴². Интересно, что в этой связи (и не только в случае с Галифаксом) «враг Короля и Королевства» становится антиподом того самого идеального друга-советчика короля, который был значимой фигурой позднеренессансного политического дискурса. В условиях нового кризиса баланса власти в разгар дискуссий о «Билле об исключении» ретанимируются старые представления о злонамеренных королевских приспешниках, которые советуют королю настаивать на том, чтобы отвергнуть Билль об исключении⁴³. Однако эта характеристика прилагается к новой системе взаимоотношений, в рамках которой легитимной является позиция большинства, а те, кто пытаются навязать иную позицию, «являются сторонниками папизма и врагами Короля и Королевства»⁴⁴.

Эта форма идентификации и самоидентификации появляется изначально в высказываниях парламентариев (преимущественно будущих вигов), именно они теперь превращаются в истинных «друзей Короля», но не короля самого по себе, а «Короля и Королевства», «Нации» и «Содружества» в отличие от представителей партии двора.

Однако и эти определения потеряют актуальность в парламентском дискурсе после 1681 г., когда станет очевидным пере-

оформление политической системы, и особенно после восшествия на престол Вильгельма III в 1689 г. и принятия «Билля о правах», ставшего своего рода конвенцией между парламентской и королевской властью, в рамках которой любая сторона могла претендовать на то, чтобы быть «другом нации». Остается только одно противопоставление – сторонников нового правления и его противников, продолжавших поддерживать Якова II. Так, в парламентских текстах в конце 80-х – начале 90-х появляются «друзья и враги правления» (*Friends and Enemies of the Rule*). Особенно интересной оказывается дискуссия относительно необходимости акта об отречении Якова II, принятие которого должно было подтвердить лояльность новому правлению в дополнение к уже принесенной клятве верности новому монарху. Противники акта отмечали, что он не поможет провести различие между «друзьями» и «врагами» нового правления, но создаст новых врагов из числа тех, кто до сих пор мог оставаться в статусе «друзей»⁴⁵. Действительно, после Славной революции необходимо было сохранить хрупкое единство «друзей правления», включавшее вигов, многих тори и «соглашателей». Все они в отличие от якобитов были и «друзьями короля», и все они, а равно и сам король могли претендовать на то, чтобы быть и «друзьями королевства», и «друзьями нации» прежде всего потому, что поддерживали созданный справедливый порядок и не стремились свергнуть страну в хаос и войну. Новая конвенция делала «друзьями правления» всех законопослушных граждан – по сути дела «благовоспитанных друзей» в локковском понимании, способных подчинять свои аффекты разуму и закону и совершать выбор в пользу общего блага вопреки частному.

История конструирования дружеских дискурсов на этом не заканчивается, однако установленное *status quo* в отношении легитимных и нелегитимных политических сил, постепенное оформление политических партий и формализация членства в них снижает потребность в дружеской риторике для описания взаимодействия в пространстве внутренней политики. Термины дружбы оказываются необходимыми в период формирования нового политического порядка и перестают использоваться, когда этот порядок устанавливается и формируются новые дискурсивные стратегии. Документы парламента XVIII–XIX веков фиксируют не только снижение частоты употребления терминов как дружбы, так и вражды, но и их расхождение в разные сферы. Если «враг» в документах XVIII–XIX веков – это преимущественно внешний политический враг государства, то «друг» в подавляющем большинстве случаев оказывается частным другом того или иного лица, упомянутого в документах.

- ¹ На русском языке см.: *Шмидт К.* Понятие политического // Вопросы социологии. 1992. № 1. С. 37–67; *Он же.* Политическая теология. М.: Канон-Пресс-Ц, 2000.
- ² *Derrida J.* Politiques de l’Amitié. P.: Galilée, 2004.
- ³ *Shannon L.* Sovereign Amity. Figures of Friendship in Shakespearean Context. Chicago: Chicago University Press, 2002. P. 17.
- ⁴ *Роуцин Е.* Понятие «дружба» в контексте международных отношений // Дружба: очерки по теории практик / Науч. ред. О.В. Хархордин. СПб.: Изд-во Европ. ун-та в Санкт-Петербурге, 2009. С. 342–343.
- ⁵ *Friend:* XIII–XV века – 95, XVI век – 215, XVII век – 1782, XVIII век – 427, XIX век – 177 (*Friend* // British History Online [Электронный ресурс]. URL: <http://www.british-history.ac.uk/search/subject/parliamentary?query=friend&title=> (дата обращения: 21.09.2015)). *Friendship:* XIII–XV века – 30, XVI век – 40, XVII век – 347, XVIII век – 103, XIX век – 7 (*Friendship* // Ibid [Электронный ресурс]. URL: <http://www.british-history.ac.uk/search/subject/parliamentary?query=friendship&title=> (дата обращения: 21.09.2015)). *Amity:* XIII–XV века – 8, XVI век – 32, XVII век – 433, XVIII век – 32, XIX век – 12 (*Amity* // Ibid [Электронный ресурс]. URL: <http://www.british-history.ac.uk/search/subject/parliamentary?query=amity&title=> (дата обращения: 21.09.2015)). В таблице обозначено количество документов, в которых употреблялись данные слова. Ситуация оказывается иной, если рассматривать все документы, выложенные на портале. Тогда можно заметить, что активизация дружеских дискурсов приходится на XVI–XVII век, расхождения между которыми минимальны (XVI – 7090; XVII – 7403), и снижается начиная с XVIII столетия (*Friend* // Ibid [Электронный ресурс]. URL: <http://www.british-history.ac.uk/search?query=friend&title=> (дата обращения: 21.09.2015)).
- ⁶ *Lesaffer R.* Amicitia in Renaissance Peace and Alliance Treatises // Journal of the History of International Law. 2002. Vol. 4. № 1. P. 77–99.
- ⁷ *Роуцин Е.* Указ. соч. С. 290–423.
- ⁸ Там же. С. 326.
- ⁹ Там же. С. 362–363.
- ¹⁰ Квентин Скиннер в своем фундаментальном труде «Основания современной политической мысли» уделяет много внимания этой категории и ее переформулированию Макиавелли (*Skinner K.* The Foundations of Modern political Thought: In 2 vols. Vol. 1. The Renaissance. Cambridge: Cambridge university press, 2002. P. 88–93).
- ¹¹ *Shannon L.* Op. cit. P. 61.
- ¹² Ibid. P. 19.
- ¹³ *Daumas M.* Des Trésors d’Amitié de la Renaissance aux Lumières. P.: Armand Colin, 2011. P. 163–164.
- ¹⁴ По свидетельству М. Дома размышления французов о возможности дружбы с монархом развивались в совершенно ином направлении: «Государь мог иметь друзей

и даже фаворитов только в приватной сфере, и он должен пресекать возможность того, чтобы они наносили ущерб делам публичным, умеряя свою благосклонность» (Ibid. P. 176). Надо отметить, что с усилением власти Людовика XIV, которого уже никак нельзя было рассматривать в качестве «друга», во Франции появляется большое количество рассуждений о том, доступно ли в принципе правителю счастье дружбы при его исключительном положении в системе власти.

¹⁵ Ibid. P. 168.

¹⁶ *Scott J.T.* Godolphin and the Whale Friendship // *Love and Friendship: Rethinking Politics and Affection in Early Modern Times* / Ed. by E.A. Velásquez. Lanham: Lexington books, 2003. P. 131.

¹⁷ Ibid. P. 136.

¹⁸ *Локк Дж.* Опыт о человеческом разумении // Локк Дж. Соч.: В 3 т. Т. 2. М.: Наука, 1985. С. 198 (4.16.4).

¹⁹ *Armstrong N., Tennenhouse L.* A Mind for Passion. Locke and Hutcheson on Desire // *Politics and the Passions, 1500–1800* / Ed. by V. Kahn, N. Saccamano, D. Coli. Princeton: Princeton University Press, 2006. P. 140.

²⁰ Answer of the Parliament to the Commissioner from Holland and West-Friesland // *A Collection of the State Papers of John Thurloe: In 7 vols* / Ed. by Th. Birch. Vol. 1. L., 1742. P. 134.

²¹ *Journals of the House of Lords. Beginning Anno Vicesimo Caroli Regis* (далее – JHL). L., 1771. Vol. 7: 14.11.1645. P. 704 (Instructions for the Agent going to Denmark).

²² *Journal of the House of Commons* (далее – JHC). L., 1803. Vol. 6. 1648–1651: 31.10.1649. P. 316 (Transactions with Holland).

²³ *Calendar of State Papers, Domestic Series. Elizabeth and James I. Addenda 1580–1625* / Ed. by M.A. Everett Green. L.: Longman and Co., 1872. Vol. 33. 1594.19. (27.05.1594). P. 365.

²⁴ *Debates of the House of Commons from the Year 1667 to the Year 1694: In 10 vols* / Ed. by A. Grey (далее – DHC). Vol. 3: 25.10.1675. L.: for D. Henry and R. Cave, 1763. P. 338.

²⁵ *Рошши Е.* Указ. соч. С. 324.

²⁶ *Enemy*: XIII–XV – 161, XVI – 257, XVII – 2467, XVIII – 379, XIX – 23 (Enemy // *British History Online* [Электронный ресурс]. URL: <http://www.british-history.ac.uk/search/subject/parliamentary?query=enemy&title=> (дата обращения: 21.09.2015)). *Enmity*: XIII–XV – 25, XVI – 31, XVII – 101, XVIII – 22, XIX – 3 (Enmity // Ibid [Электронный ресурс]. URL: <http://www.british-history.ac.uk/search/subject/parliamentary?query=enmity&title=> (дата обращения: 21.09.2015)). *Foe*: XIII–XV – 3, XVI – 6, XVII – 63, XVIII – 7, XIX – 1 (Foe // Ibid [Электронный ресурс]. URL: <http://www.british-history.ac.uk/search/subject/parliamentary?query=foe&title=> (дата обращения: 21.09.2015)).

²⁷ При этом во много раз чаще употребляется слово *enemy*, а не *foe*, которое, по мнению Шмитта, более близко по значению к понятию «экзистенциального», или «природного», врага.

- 28 JHL. Vol. 8: 03.04.1646. P. 252 (Ordinance for Martial Law in London & c. and within the Lines).
- 29 Хотя термин «враг» в концепции Шмитта не имел отношения к противоборствующим силам во внутренней политике, представляется важным отметить, что Жак Деррида, занимаясь деконструкцией концепции Шмитта, демонстрирует несимметричность понятий «друг» и «враг». Гайятри Спивак, анализируя уже работу самого Деррида, подытожила его рассуждения, сформулировав тезис о том, что «понятие “друг” не является противоположностью понятия “враг”» (*Spivak G.Ch. Schmitt and Poststructuralism: a Response // Cardozo Law Review. 2000. Vol. 21. № 5–6. P. 1725*).
- 30 JHC. Vol. 6. 1648–1651: 12.08.1651. P. 619.
- 31 JHL. Vol. 7: 06.06.1645. P. 414 (Reasons of the Committee of Shropshire, for the Commitment of Edwards).
- 32 An Intercepted Letter from London. 11.12.1653 // A Collection of the State Papers of John Thurloe. Vol. 1. P. 630.
- 33 JHC. Vol. 4. 1644–1646: 11.09.1645. P. 271.
- 34 The copy of the Return of the Diligence of those Employed by Charles Stuart to Negotiate, here in Scotland and Places elsewhere [17.10.1656] // A Collection of the State Papers of John Thurloe. Vol. 5. P. 603.
- 35 DHC. Vol. 7: 17.05.1679. P. 293.
- 36 JHC. Vol. 11. 1693–1697: 30.11.1696. P. 602.
- 37 Билль об исключении герцога Йоркского из права престолонаследия. Полемика вокруг билля, запрещавшего католику Якову Стюарту, герцогу Йоркскому наследовать престол, продолжалась с 1679 по 1681 г. Билль был принят палатой общин, но отвергнут палатой лордов из-за активного противодействия короля Карла II и во многом благодаря красноречию Джорджа Севиля, маркиза Галифакса, победившего в дебатах своего оппонента лорда Шефтсбери (при этом Шефтсбери приходился Галифаксу дядей).
- 38 The Oxford Parliament // The History and Proceedings of the House of Commons from the Restoration to the Present Times: In 14 vols. Vol. 2. L.: for R. Chandler, 1742. P. 110 (Debate on the loss of the Bill renewed (1681)).
- 39 DHC. Vol. 4: 20.02.1676. P. 112.
- 40 Ibid. Vol. 2: 20.01.1673. P. 326.
- 41 Ibid. Vol. 4: 02.03.1677. P. 170.
- 42 Ibid. Vol. 8: 17.11.1680. P. 21.
- 43 Галифакса обвинили в том, что он был дурным советчиком королю в отличие от самого парламента: «Это не суд над ним. Он дал дурной совет королю, мы собираемся дать ему хороший [т. е. удалить самого Галифакса – А. С.]» (Ibid. Vol. 8: 22.11.1680. P. 45).
- 44 Ibid. Vol. 8: 07.01.1681. P. 285.
- 45 Ibid. Vol. 10: 26.04.1690. P. 76–78.

ОТНОШЕНИЕ К СМЕРТИ КАК СОЦИОКУЛЬТУРНЫЙ МАРКЕР

В статье речь идет о глубоко специфичном отношении к смерти в рамках различных культур. Эта специфика отражается не только на уровне обрядов и практик, связанных со смертью, но и на их изучении. Анализируя изучение некрологических текстов в англоязычных и немецкоязычных исследованиях, автор констатирует различие исследовательских подходов к этим текстам в зависимости от принадлежности их определенному культурному локусу. Американские ученые работают чаще всего в рамках *gender studies* и *media studies*, английские исследователи уделяют большее внимание вопросам социолингвистики и коллективной памяти, исследователи из Азии и Африки вполне вписываются в постколониальную парадигму, а немецкоязычные исследователи работают в области сравнительного изучения культур.

Ключевые слова: некролог, смерть, *death studies*, социокультурный маркер.

Кажется, едва ли не первый урок по формальной логике начинается с простого категорического силлогизма. Пример всегда один и тот же:

Всякий человек смертен (бóльшая посылка).

Сократ – человек (меньшая посылка).

Сократ смертен (заключение).

О спорности очевидного

Не вдаваясь в критику посылок и заключения, задумаемся о причинах вековой очарованности европейской мысли этим утверждением. Думаю, не в последнюю очередь она связана с магической силой самого слова «смерть» применительно к человеку.

Смерть – парадокс для философов: мысль, которую нельзя помыслить, поскольку она сама по себе не-существование и без-мыслие – если есть смерть, то нет меня, если есть я, то нет смерти. Зигмунд Бауман определяет как характерную особенность человека не саму смертность, а знание о смертности и постоянное усилие избавиться от этого знания, что в разных культурах и в разные времена реализуется с разной степенью успешности. «Освобождение из-под власти смертности, практикуемое социальной организацией или обещаемое культурой, не может не оказаться бесконечно сомнительным и в конце концов иллюзорным: мысль должна вызывать в воображении то, что действительность не может ни поддержать, ни разрешить»¹.

Знание о смерти и жизнь с этим знанием – вот что определяет человека как вид. Это универсальное качество человечества. Однако внутри каждой культуры существуют свои мысли и практики отношений со смертью, которые меняются со временем. Даже внутри европейской по типу культуры эти мысли и практики весьма разнообразны, хотя и маскируются очевидностью конвенционального смысла некоторых общих слов.

Во всех европейских по типу культурах нового времени существует такой способ публичного письменного поминания мертвых, как некролог, однако трудно даже представить себе, насколько объем понятия «некролог» различается в разных языках и даже культурно-языковых локусах. Больше того, поскольку кое-где за «некрологом» зарезервирован вполне конкретный жанр, я в данном случае предпочитаю говорить о «некрологических текстах», имея в виду любой вид печатного текста, связанного с публичным поминанием умершего и ритуалами прощания.

В англоязычных культурах существует формальное разделение на объявления о смерти (death notices, death announcements) и некрологи (obituaries), однако границу между ними, по признанию большинства исследователей, провести зачастую трудно, особенно если иметь в виду историческую перспективу. В большинстве случаев типы письменного поминания различаются по объему (объявления короче), по месту публикации (объявления – на специальной полосе), по «производящей инстанции» (объявления подают

близкие, некрологи пишут профессиональные редакторы), по оплате (объявления платные, некрологи бесплатные). Но каждое из этих правил может быть нарушено, и употребление слова некролог (obituary) для обозначения объявления о смерти совершенно нормально не только в обыденной речи, но и в научных статьях.

В немецкой культурной практике имеются объявления о смерти (Todesanzeigen) и некрологи (Nachrufe). Больше того, слово «Nekrolog» в немецком языке также присутствует: оно активно функционировало с конца XVIII века, обозначая текст гражданской биографии умершего (в биографических антологиях знаменитых людей). «Изменение понятия “Nekrolog” отмечает исторический переход к новой форме индивидуальной биографии, возникшей в первой половине XIX века как непридуманное (нефикциональное), возникающее параллельно жанру романа явление, весьма любимое во второй половине века. Понятие “Nekrolog” было вытеснено тогда в область похоронной риторики, где оно совпало с обозначением жанра “Nachruf”, и в антологиях опять стало употребляться понятие “биографии”»². В больших газетах (и вслед за ними – у исследователей) эти понятия часто используются как синонимы. Однако может работать и «английская» модель: платные объявления о смерти vs редакционная статья об умершем, определяемая общественным интересом к его фигуре. Специфика немецкой ситуации заключается в том, что объявление о смерти может включать в себя некролог (часто соответственно обозначенный заголовком Nachruf) – эта часть касается жизни умершего³. В других случаях некролог может оказаться одной из частей довольно пространной последовательности некрологических текстов, публикуемых один за другим: объявление о смерти (общее знание о факте смерти, подробности погребения, исходит от близких) – соболезнование (публикуют не члены семьи) – благодарности (от семьи – принимавшим участие и выразившим сочувствие, замена посылаемой прежде благодарственной карточки; форма вежливости, адресованная от живых к живым) – памятное объявление (отмечает годовщины смерти, но может быть приурочено к дню рождения или годовщине свадьбы умершего; по происхождению – реквием, по функции – некролог).

При этом несколько в стороне почти всегда оказываются большие некрологические тексты (посвященные социально значимым персонажам), которые печатаются чаще не в газетах, а в журналах (и потом нередко выходят собранными в отдельные сборники) не непосредственно после смерти. И в англоязычной, и в немецкоязычной традиции они проходят по разряду эссеистики, анализу поддаются плохо, скорее – комментированию и истолкованию. Од-

нако их связь с теми формами, о которых шла речь выше, очевидна. Они имеют ту же природу и те же функции, что и газетные объявления и некрологи, правда, иерархия функций может меняться, что влечет за собой изменение места самих текстов в культурном пространстве. Собственно говоря, вопрос об их месте в культурном пространстве при исследовании различных видов некрологических текстов и оказывается ключевым. О чем они? Зачем они? Для кого они? Ответы на эти вопросы неочевидны.

Разнообразие видов некрологических текстов свидетельствует о неоднородности самой практики поминания и связано с гибридностью жанра. Сформировавшийся в привычном виде уже в новейшее время, он имеет в своем «анамнезе» признаки и устного, и письменного текста, то есть он наследует двум очень разным традициям. Жанр некролога (письменный генезис), например, не определяется через объем, который может колебаться от нескольких строк до многих страниц; объявление о смерти восходит к устному жанру, но оно может занимать и целую полосу (и включать в себя некролог), эпитафия же может состоять из нескольких слов, но по природе своей это письменный жанр.

Нам трудно представить себе, какое обилие культурной информации заключено в этих зачастую небольших текстах – впрочем, в европейских исследованиях культуры анализ, например, газетных объявлений о смерти – привычная тема. Их изучают лингвисты, социологи, исследователи медиа. Но сам анализ подходов к изучению дает весьма своеобразную картину культурно-языковых общностей.

«Смерть» в медиа

1. Англоязычные некрологи в англоязычных странах

Некрологов-эссе в журналах в этой публикации я касаться не буду, замечу лишь, что они, в силу художественности и уникальности, оказываются более космополитичными по сравнению с некрологическими текстами в газетах, более укорененными в повседневных социальных практиках и проявляющими ярко выраженный национальный характер. Даже написанные на одном языке, в разных культурных пространствах они функционируют по-разному. На различии языкового пространства и культурного пространства в случае текстов о смерти последовательно настаивают немецкие лингвисты, активно использующие сравнительные методики анализа. Но мысль эта не чужда и англосаксонской

культуре, подтверждением чему служит колонка в *The Guardian* под заголовком «Провожая: почему некрологи в США – бизнес, а в Великобритании – искусство»⁴. Безусловно находясь на стороне британского способа поминания, автор сравнивает некрологи и газетных двух стран и приходит к следующим выводам. В Америке смерть понимается как информационный повод, в Англии же смерть – удобный случай написать небольшую биографию, рассказать о человеке. В Америке некрологи публичных персон отражают исторические факты, в Англии – все возрастающее число некрологов представляют собой интерпретацию жизни умерших близкими людьми (поэтому в Англии промежуток между смертью и некрологом не имеет значения, в Америке же ценится оперативность). В Америке некролог важен как новость, а не как образец изящной словесности, хороший американский некролог – это некролог-скандал, представляющий чрезвычайное событие. В Англии некролог – форма общественной памяти и переживания горя, демонстрация уважения к смерти. Эти различия суммируются в краткой формуле: «новости versus эссе».

Устойчивый интерес к исследованию некрологов, кажется, впервые обозначился в Америке в начале 80-х годов XX века. Поначалу к ним обратились как к источнику документальной информации в поисках биографических сведений об умершем. Однако очень скоро интерес принял более изощренные формы, исследователи стали использовать контент-анализ больших массивов некрологов, пытаясь классифицировать и каталогизировать формы поминания (несколько позже это будет названо «мозаикой социальной истории») и отмечая специфику этого поминания в средствах массовой информации. Крупное монографическое исследование появилось уже в 1981 г., в нем автор изучал некрологи библиотекарям почти за столетний период (1884–1976), помещенные в «*The New York Times*»: «Как объект исследования, редакционные каталоги имеют мало достоинств», утверждает автор, в силу формальности жанра и обязательности (если не сказать – принудительности) героев и способов их описания. Но они ценны для изучения восприятия медиа и представления определенных профессиональных групп, они обеспечивают «уникальный метод измерения профессионального статуса и образа»⁵.

С этого времени академический интерес к некрологам в США (чуть позже – в других англоязычных регионах) только возрастал. Надо отметить несколько особенностей этого процесса, связанных с выбором метода и корпуса источников. Интерес этот в США реализовался почти исключительно в двух дисциплинарных областях:

в гендерных исследованиях и в истории и теории журналистики (как часть *media studies*, включающих в себя и прагматический аспект). Европейские исследования активно разрабатывали анализ некрологических текстов с точки зрения социолингвистики и коллективной памяти.

2. Англоязычные некрологи в неанглоязычных странах

Некрологические тексты оказываются столь тонким социальным инструментом, что языковые границы оказываются слишком широкими. Понятно, что англоязычные некрологи для Великобритании – родная культурная практика, для Америки – импортированная и адаптированная, для всего остального в той или иной степени англоязычного мира – имплантированная. Но неожиданным оказалось то, что это имеет последствия не только и не столько для самой практики, сколько для подходов к ее исследованию. Исследования объявлений о смерти имеют культурно-языковую корреляцию и представляют собой определенный способ разговора о культуре.

Неожиданный интерес к некрологическим текстам проявился в странах третьего мира. Первые работы принадлежали лингвисту и социологу из Нигерии Отвиго Нвое, они появились еще в 1990-е годы⁶. Он сравнивал некрологи в нигерийских газетах с газетными некрологами Англии, Германии и Индии и фиксировал в них черты сходства и различия. Последователей на пути исследования посмертных заметок у него долго не было, хотя сегодня он обязательный для цитирования автор среди африканских исследователей.

В последние пять-десять лет такие исследования стали проводить социолингвисты. Некролог понимается ими часто не только как речевое, но и как коммуникативное событие. Их работы опираются на разработанную методологию, имеют один круг ссылок и, с некоторыми вариациями, построены на сравнении местных англоязычных некрологов с английскими образцами – и в итоге выходят на кросскультурную проблематику. Постулируется связь культуры и языка и, в конечном счете, – разность культур. Такие исследования проведены, например, в Иордании, в Гане, в Кении, в Иране, в Пакистане (малазийскими исследователями), в Шри-Ланке.

Стратегии этих исследований лингвистические, задачи – культурно-антропологические. Методика уже вполне отработана: некрологи (речь, как правило, идет о корпусах из сотен текстов: Иордания – 300, Гана – 636, Кения – 356, Пакистан – 601, Шри-Ланка – больше 1300) сравниваются по ряду параметров в местной и британской

группах и различия интерпретируются как разность культур. Выясняется, что местный материал трансформирует структуру и язык. Один из устойчивых выводов таких исследований: коммуникация, связанная с некрологическими текстами, оказывается шире просто информации о смерти, а их язык (при этом, как правило, речь идет об английском) репрезентирует местные культурные представления. Некрологи (заимствованная практика!) начинают работать как медиум между различными группами в социальном и лингвистическом пространстве. Окончательный вывод сегодня обязательно связан с констатацией самобытности местной культуры.

Если говорить о постколониальных исследованиях некрологических текстов последнего времени, то, похоже, это уже следующий этап осмысления культурой себя. На экзотическом материале, куда практика некрологов была просто имплантирована, доказывается уже не самобытность культуры относительно британского образца, а описываются существенные черты самой местной культуры. Поскольку исследований практики некрологов в странах, где английский не был родным языком, но в силу исторических причин стал языком элиты, уже много, появляется возможность сравнения между собой представлений о смерти в таких странах – чужая культурная практика становится лишь инструментом. Кросскультурные исследования в странах с несколькими религиями начинают ориентироваться на разнообразие внутри собственной культуры.

3. Немецкоязычные исследования

Удивительным образом достаточно многочисленные исследования некрологических текстов на немецком языке не могут быть интегрированы в предыдущее описание. Их обширное поле в значительной степени гетерогенно, а там, где возможны приблизительные классификации, они никак не соотносятся с миром англоязычных исследований. По мере чтения сначала удивляешься этому несовпадению подходов, потом приходишь к выводу, что дело не в инструментарии, а в способе видеть мир и предмет у авторов; затем, по мере осознания абсурдности мысли об авторском заговоре, понимаешь, что имеешь дело скорее с разностью предметов. Разные традиции поминания предполагают разные традиции понимания и, следовательно, разные традиции изучения⁷.

Наиболее распространенный предмет немецкоязычных исследований – газетные объявления о смерти, но, как ни странно, они только по названию совпадают с предметом англоязычных исследований. Это другой культурный объект, и он требует иного обраще-

ния (в том числе и научного) с собой. Это заметно даже на уровне оформления статей и книг: если англоязычные издания представляют собой привычные варианты текстовой верстки, то немецкие сопровождаются многочисленными иллюстрациями, без которых невозможно представить предмет разговора. Если в англоязычных изданиях плата за объявления о смерти взимается, как правило, за количество знаков, то в немецкоязычных – за площадь. Обильный «воздух» (пустое белое пространство) в макете объявления исследователи понимают как необходимую составляющую и рассматривают его как значимый компонент в противопоставлении белого и черного (траурная рамка обязательно присутствует в немецких объявлениях и отсутствует в английских). Обилие значимых компонентов (кроме траурной рамки это еще и графические символы, лозунги, эпитафии и т. д.) создает многообразие вариантов. В силу этого обстоятельства значительная часть немецких исследований посвящена нормам и границам жанра. Но этим формальным многообразием вариантов немецкая поминальная практика не удовлетворяется – около 10% объявлений представляют собой исключение из любых правил, они «авторские» и эксклюзивные. Пренебречь ими нельзя, исследовать их невозможно. Над всем этим богатым материалом можно размышлять, но вряд ли можно его аналитически описать. Любимый прием конечных выводов значительной части исследований – метафора, чаще всего – зеркала (отражающего разное) или, например, индикатора культурных конвенций.

Можно сказать, что англоязычные исследования наследуют аристотелевскую традицию логического анализа, а немецкоязычные – платоновскую, в первом случае исследуется норма, во втором демонстрируется многообразие.

Заключение

Некрологические тексты, как видно, оказываются специфическим материалом: своеобразие культур фиксируется не только в культурной практике, но и в ее изучении. В частности, соотношение теоретических обобщений, выверенности инструментария (метода) и эмпирического материала в случае исследования некрологических текстов может складываться по-разному. В американских и британских исследованиях большое внимание уделяется методу, релевантному материалу; теория вырастает из практических исследований, базируется на них и надстраивается над ними. В странах третьего мира авторы работ используют редуцированный инструментарий для

определенных целей, связанных со становлением постколониальной идентичности. В работах немецкоязычных исследователей теория предшествует практике, сконструированные идеальные модели проверяются на конкретном материале. По сравнению с англоязычными исследованиями методические рамки здесь менее определены, в чем сказывается, вероятно, уважение к «метафизической» составляющей некрологических текстов. Такая особенность подходов не в последнюю очередь связана с различием самих культурных практик.

Примечания

- ¹ *Bauman Z.* Mortality, Immortality and Other Life Strategies. Cambridge: Polity Press, 1992. P. 7–8.
- ² Понятие Nekrolog предполагало речь о высоком: например, речь Перикла по поводу погибших в Пелопонесских войнах (*Götz T.* Poetik des Nachrufs: zur Kultur der Nekrologie und zur Nachrufszene auf dem Theater. Wien; Köln; Weimar: Böhlau Verlag, 2008. S. 22).
- ³ По утверждению Экраммер, сравнивавшей некрологические тексты на 6 европейских языках, некролог внутри объявления о смерти встречается на немецком языке в 32% случаев, на французском в 12%, в остальных языках – крайне редко, в португальском – никогда. Некролог подразумевает описание достижений умершего, его личных качеств и жизненных ситуаций. В местной прессе Германии, где объявления о смерти часто печатаются уже после похорон, эти самые объявления, по мнению автора, и выполняют функции некрологов (*Eckkrammer E.M.* Die Todesanzeige als Spiegel kultureller Konventionen: eine kontrastive Analyse deutscher, englischer, französischer, spanischer, italienischer und portugiesischer Todesanzeigen. Bonn, 1996. S. 87).
- ⁴ *Showalter E.* Way to Go: On Why Obituaries Are a Business in the US and an Art in the UK // *The Guardian*. 2000. 2 Sept.
- ⁵ *Knutson G.S.* A Content analysis of obituaries of prominent librarians in the New York Times: MA Thesis. Chicago: University of Chicago, 1981. P. 12.
- ⁶ *Nwoye O.* Obituary Announcements as Communicative Events in Nigeria English // *World Englishes*. 1992. № 11. P. 15–27; *Idem.* The Information Load of Nigerian Death Notices // *Archive Oriental*. 1993. № 61. P. 195–205.
- ⁷ В этом смысле показателен пример англоязычного исследования объявлений о смерти в газетах Северной Европы (*Naumann A.-S.* The image of obituaries in some Nordic morning papers. Jönköping University). Исследовательница пытается применить инструментарий, выработанный в англоязычной традиции, к некрологическим текстам, которые, судя по описаниям, принадлежат к традиции немецкоязычной. Результаты (в части производства нового знания) оказываются минимальными.

БЭНСИ: ГОВОРЯЩИЕ ЗВЕЗДЫ НЕМОГО КИНО

Статья посвящена анализу феномена бэнси – комментатора – в раннем японском кинематографе. Особое внимание уделено специфике японского кинопоказа в эпоху немого кино.

Ключевые слова: кинематограф, бэнси, кацубен, сэцумэй, Япония, немое кино.

Зададимся наивным вопросом – что было необходимо для киносеанса в начале XX в.? Казалось бы, ответ очевиден: помещение, киноаппарат, экран, киноплёнка, киномеханик, зрители. Тапер, добавит европеец или американец; бэнси (кацубен, пхенса) скажет японец, кореец, тайванец. Ю.Г. Цивьян в своей замечательной работе¹, посвященной практикам показа раннего кино, показал, насколько отличается культура просмотра кинофильма в начале XX в. от сегодняшней. Тот культурный продукт, который мы называем одним и тем же словом «фильм», при всей внешней схожести в начале XX и в XXI в. имеет разную структуру, иной тип связи между его составляющими частями. В европейской и американской практиках показа важная роль отводилась таперу, обеспечивавшему «живой звук», становившийся во время восприятия фильма неотъемлемой частью кинотекста. В Японии и странах, подвергшихся японской культурной колонизации, частью кинотекста стало повествование бэнси, комментировавшего действие, происходившее на экране². Эта особенность японского кино (а вслед за ним и корейского, тайваньского) – практика демонстрации фильма в сопровождении чтеца-комментатора (бэнси) – сохранялась вплоть до наступления эры звукового кино, т. е. примерно до 1932 г.³

К сожалению, среди отечественных исследователей кинематографа феномен бэнси не стал предметом самостоятельного анализа. Настоящая статья является попыткой восполнить этот пробел.

Сегодня в Японии проживает около десяти профессиональных бэнси, в эру немого кинематографа их были тысячи. Существовало несколько причин популярности и долговечности профессии бэнси.

В отличие от других стран показ первых кинофильмов в Японии не был «театром для бедных», а скорее представлением, рассчитанным на средний класс, на тех, кто интересовался Западом. Но с момента «открытия» Японией Запада прошло всего лишь менее полувека. Иностранные фильмы принесли визуализацию новых вещей и событий, о которых у японцев не было никакого представления. Реалии европейской жизни были неизвестны большинству японцев, поэтому зачастую самые обычные явления требовали пояснения. Эту функцию и брал на себя бэнси.

Кроме того, первые киносеансы состояли из коротких, по несколько минут, не связанных между собой сюжетов – кормление ребенка, поливание газона. Комментатор, объясняя эти сюжеты, делал сеанс длиннее и связывал сюжеты в единое представление. Прокатчики были очень заинтересованы в удлинении сеанса, поскольку цены на билеты были весьма высоки, а количество кинофильмов, которые можно было показать, – мало⁴.

Дж. Андерсон и Д. Ричи апеллируют к особому складу ума японцев. Исследователи считают, что японцам необходимо понимать, как устроены технические приспособления, используемые в театральной постановке или на кинематографическом сеансе. Поэтому на первых порах объяснялись и технические аспекты демонстрации фильма⁵.

Еще одной из возможных причин, почему японские зрители с готовностью приняли бэнси, было то, что рассказчики вписывались в традиционную практику театральных и других зрелищ, сочетавших как визуальные, так и аудиоряды. На протяжении всей истории различные формы японского искусства основывались на комбинации визуальности (свитки, картины, танец, сценическое действие) и звучащего нарратива. Повествование, представленное рассказчиком или комментатором, зачастую было физически отделено от визуального элемента (действий актеров, кукол и т. д.). Гармоничное объединение этих разрозненных частей в единое целое доставляло зрителям особое эстетическое удовольствие. Одним из самых старых типов смешанного представления-объяснения является этоки (проповедь с использованием картин). Во время этоки обычно монах (монахиня) проповедовали или

рассказывали историческое предание, показывая соответствующие картины или мандалы, визуально дополнявшие информацию, воспринятую на слух. Одни импровизировали во время такой проповеди, другие заучивали текст на память либо читали его по книге. Иногда действие сопровождалось музыкальным сопровождением. В результате у зрителя возникал редкий аудиовизуальный опыт⁶. В театральных представлениях кабуки, но, бунраку, дзёрури присутствовала фигура певца/сказителя, берущего на себя функции повествования. В японском традиционном марионеточном театре бунраку всегда присутствует рассказчик, который не только озвучивает диалоги, но и «рассказывает пьесу». В классических театрах но и кабуки смешаны драматические формы (игра актеров на сцене) и рассказ истории рассказчиком. Сохранявшие популярность в конце Токугава – начале Мэйдзи представления волшебных фонарей (гэнто), завезенные голландцами в Японию еще в конце XVIII в., также предполагали участие рассказчика⁷. Таким образом, устное повествование, сопровождающее визуальное искусство, не возникло с появлением кинофильма, а было частью давней традиции. Йосида, полемизируя с западными исследователями, утверждает, фигура бэнси появилась не «потому что японцам нравится объяснять вещи», а потому, что подобное объяснение было частью устоявшейся культурной практики⁸.

Повествовательное искусство бэнси получило название «эйга сэцумэй». Установить, кто был родоначальником сэцумэй, сегодня невозможно, но сохранились имена первых популярных бэнси – Комада Коё, Такахаси Сэнкити, Уэда Хотэйкэн, Накагава Кэйдзи. В начале 1900-х практиковалось выступление бэнси перед началом основного кинопоказа (маэсэцу), это могли быть демонстрация чуда «движущихся картинок» или пояснения, облегчавшие понимание того, что будет происходить на экране. Так как маэсэцу не требовало затемнения кинотеатра, то выступление бэнси было рассчитано не только на аудио-, но и на визуальное восприятие. Будучи медиатором между зрителем и образом на экране, бэнси тщательно продумывал свои позы и костюм. Часто его костюм соответствовал тематике фильма и варьировался «от облачения ковбоя до стилизованной военной формы эпохи Эдо», а его местонахождение выделялось специальной платформой⁹. Объяснение того, что будет показано на экране, было основной работой бэнси в ранний период. Очень важный момент – переход от маэсэцу к повествованию во время демонстрации самого фильма – накасэцу. Здесь на первый план выдвигались ораторские способности бэнси.

Однако к 1908 г. становятся очевидными те изменения, которые произошли как в практиках показа кино, так и в самих кинофильмах. Зрители, уже привыкшие к новому чуду техники, стали терять интерес к простому созерцанию запечатленной на пленке реальности, пусть даже с комментариями просвещенного человека. Кинопроизводители отреагировали на это созданием более сложных и длинных кинотекстов, бэнси – изменением практик эцумэй. В этот период бэнси развивают свои собственные индивидуальные способы представления, иногда используя приемы традиционных «акустических» искусств: нагаута, гитаю, нанивабуси. Интонация, красноречие, ритм, темп – все, что составляет эстетику речи, ясность, точность, беглость, поэтический или юмористический выбор слов (а иногда даже мелодичное пение) определяли мастерство исполнителей.

Теперь бэнси не только комментировали экранное действие, поясняли непонятные японцам обычаи зарубежных стран, но и сочиняли диалоги, даже порой критиковали демонстрировавшийся фильм. Когда длинные сюжеты стали нормой, бэнси объяснял ход сюжетных линий. Они могли сопровождать повествование традиционной японской музыкой. Наличие одного, а иногда и нескольких повествователей, «внешних» по отношению к самому фильму, является специфически японской формой ассимиляции западного продукта, коим являлся фильм.

Дим, рассматривая эволюцию искусства бэнси, называет это время «экспериментальным периодом» (1908–1914), выделяя еще «зрелый период» (1917–1925) и «золотой век» (1926–1931)¹⁰. Кинопрокатчики, первоначально нанимавшие рассказчиков для объяснения иностранной экзотики, вскоре поняли, что популярность фильма может быть напрямую связана с фигурой бэнси. Некоторых зрителей искусство эцумэй привлекало в кино не меньше, чем показ новой киноленты. Одни бэнси славились интеллектуальным юмором, другие почти непристойными комментариями, третьи – поэтической красотой речи, четвертые – тембром голоса. Известно, что многие из них делали ссылки на классические литературные источники, а некоторые давали лирическое описание эмоций персонажа или живописной природной сцены в форме хайку¹¹. Как отмечает Дим, для определенной части японских зрителей вопрос формулировался не «какой фильм пойдем смотреть?», а «какого бэнси пойдем слушать?»; т. е. выбор кинотеатра зависел не от ленты, там демонстрируемой, а от того, кого там можно было услышать. Если зрителям не нравился бэнси, выступающий в кинотеатре, где начал идти новый фильм, то они ждали, пока фильм переместится в другой кинотеатр, где работал их любимый бэнси¹².

В начале существования кинематографа в Японии и соответственно бэнси их социальный статус был невысок, но на втором этапе бэнси превращаются в «звезд». Их фотографии печатают на афишах, фамилии упоминаются в анонсах. Параллельно и государство, и киноиндустрия пытаются институционализировать бэнси, четко обозначить их функции, в первую очередь «образовательную» и «нарративную». Комментарии известного бэнси М. Токугава к фильму «Цивилизация» (реж. Р. Баркер и Т. Инс) побудили токийский полицейский департамент ввести систему лицензирования бэнси¹³.

Итак, бэнси рассказывали сюжеты, объясняли неизвестные обычаи и реалии, делали морализаторские обобщения, используя при этом всепоглощающую риторику. Нужно отметить, что это время, когда живо устное слово. Даже теперь, когда выступление рассказчика стало предметом более или менее научной реконструкции, избыточность объяснений, повтор объяснений, голос за кадром продолжают оставаться в японском коммерческом кино¹⁴. Это то, что необходимо для аудитории, и то, чего она желает. Искусство бэнси может быть определено как искусство повествования. С развитием кино развивалось и искусство бэнси. Они использовали традиционные приемы красноречия, риторику, характерную для философии. Потребность в простых объяснениях превратилась в художественную форму, фильмы стали зависеть от таланта повествования и импровизации бэнси.

Бэнси стал едва ли не более важной фигурой, чем актер или режиссер, и вполне обычным для них была более высокая заработная плата. Часто имена бэнси первыми указывались на афишах фильма. Примечательно, что обложка первого номера киножурнала «Кацудосясинкай» была украшена изображением бэнси, а не известных актеров или режиссеров. Заметим, что часто именно фигура знаменитого бэнси привлекала зрителей на сеанс, обеспечивая хорошую кассу.

Как можно оценить роль бэнси? С европейской точки зрения можно говорить о том, что фигура бэнси замедляла развитие кинематографического процесса в Японии. На западе кино эволюционировало в самодостаточное повествование (нарратив), здесь выстраивается повествование из последовательной цепи эпизодов, в конце концов складывающихся в законченную историю, рождающих у зрителя определенные чувства. В Японии восприятие нарратива было иным. Именно комментарий бэнси, а не содержащиеся в тексте фильма приемы описания рождали у аудитории определенные чувства. Бэнси не просто объяснял то,

что происходило на экране, он следил за эмоциональным настроением аудитории и «усиливал, интерпретировал, соединял несоединимое, а в ряде случаев выступал в качестве медиатора»¹⁵. Зрители от одного и того же фильма могли получить совершенно разный опыт в зависимости от того, какой бэнси выступал на сеансе¹⁶. Он мог предложить свои интерпретации фильма, создавая собственную версию событий, иногда не совпадавшую с замыслом авторов. Классическим примером является ситуация с демонстрацией французского фильма «Конец царствования Людовик XVI. Революция во Франции» (1907). В стране, где правил божественный потомок богини Амата́расу, показ фильма, воспевающего народный бунт и свержение короля, был недопустим. Власти дошли до этой незатейливой мысли через день после начала демонстрации фильма. Показ фильма был запрещен, так как это несло угрозу общественному спокойствию. Однако прокатчики недолго горевали, они выпустили «новую» картину – «Пещера короля: забавный случай в Северной Америке». Стараниями бэнси Людовик XVI превратился в короля шайки разбойников, а толпа, штурмующая Бастилию, – в группы лояльных граждан, совместно с полицией штурмующих бандитское логово. Действие было перенесено в Роки Маунтин¹⁷.

Порой по распоряжению бэнси киномеханики могли замедлить скорость проецирования, чтобы было больше времени для рассказа. Манера повествования менялась в зависимости от того, был ли фильм японским или иностранным, трагедией или картиной другого жанра.

А. Джероу обращает внимание на возникновение практики публикации в киножурналах записи текстов комментариев известных бэнси, что помогало стандартизации текста фильма. С его точки зрения новеллизация предполагала, что кинематографический текст не самодостаточен и зависит от внешнего дискурса. Следовательно, снятую киноленту можно рассматривать как полуготовый продукт, окончательно наделяемый смыслами и значениями в момент демонстрации, сопровождаемой рассказом бэнси, либо во время новеллизации¹⁸.

Авторитет самых известных бэнси был настолько силен, что кинокомпании консультировались у них о возможных вариантах развития сюжета еще на стадии съемок фильма, а некоторые режиссеры даже признавались, что использовали в фильмах стиль разговора их любимых бэнси. В ранний период визуальный ряд японского фильма зачастую конструировался как своего рода иллюстрации для демонстрации умений бэнси.

Природа искусства бэнси стала объектом дискуссий в 1979 г., когда Н. Бурх¹⁹ предложил отказаться от концепции, рассматривающей бэнси как человека, «объясняющего действие», и вместо этого предложил рассматривать их деятельность как вмешательство, которое дистанцировало, а иногда и противоречило логике создателей фильма. Бурх предположил, что с бэнси сила изображения была ослаблена речью и почти уравнена по статусу с нарративом²⁰.

После Первой мировой войны кино в Японии начинает рассматриваться как самостоятельная художественная форма, одновременно просматривается тенденция создания более оригинального и независимого японского кино. Многие режиссеры теперь видят в бэнси пережиток прошлого, но, как ни странно, число бэнси растет. В 1920 г. в Токио и окрестностях было 840 бэнси – 750 мужчин и 90 женщин. К 1927 г. на всей территории Японской империи 6818 человек имели профессию бэнси²¹.

Сложилась и жанровая специализация бэнси. До Первой мировой войны бэнси были главным образом вовлечены в работу с четырьмя типами фильмов:

- 1) иностранные фильмы, сопровождаемые бэнси, роль которого заключалась не столько в объяснении, сколько в приспособлении и «национализации иностранного продукта такими способами, которые скрывают его иностранное происхождение ...», т. е. такая форма культурного вмешательства, которая продолжила вековую практику преобразования чужого в свое²²;
- 2) «дзидайгэки» – фильмы, построенные на материале истории и фольклора (центр производства в Киото);
- 3) «гэндайгэки» – фильмы о современности (центр производства в Токио);
- 4) «цепочечная драма»²³.

В 1920-х большинство бэнси специализировалось на комментировании одного из трех сохранившихся к этому времени жанров. Так, старший брат Акиры Куросавы, Хэйго, был бэнси, специализировавшимся на иностранных фильмах²⁴.

Золотой век бэнси стал клониться к закату к концу 1920-х гг., когда массовое производство звуковых фильмов обрело реальные очертания. Пока иностранные фильмы, ввозимые в страну, были частично звуковыми, особого беспокойства можно было не испытывать – бэнси продолжали оставаться незаменимыми. Однако появление полностью звуковых картин создало реальную опасность. Первая реакция на звук – выключение его во время сеанса, как произошло в 1931 г. на премьере фильма Й. Штенберга «Голубой

ангел». Вскоре стало понятно, что подобными мерами решить проблему невозможно – зритель хотел звукового кино. В том же году фильм того же Й. Штенберга «Марокко» стал первым иностранным фильмом, снабженным субтитрами на японском языке. Интересно, что дублирование никогда не станет популярным в Японии, титры до сегодняшнего дня остаются основным способом перевода иностранных фильмов²⁵. Успех «Голубого ангела» и «Марокко» подтолкнул японских кинопроизводителей к созданию звуковых фильмов. Первые звуковые японские фильмы появляются в конце 1920-х гг. Правда, еще в 1905 г. японская компания Пате начала эксперименты со звуковой синхронизацией, но опыты пришлось прекратить из-за несовершенного оборудования и давления бэнси. Применение звука в японском кинематографе станет нормой только в начале 1930-х гг. Были и другие причины, задержавшие развитие звука в японском кино: дороговизна производства звуковых фильмов и оборудования кинотеатров, разобщенность действий главных японских кинокомпаний и, как следствие, отсутствие единого стандарта. Существовала и проблема лингвистического характера. Звук принес в кино проблему диалектов. Во многих ранних звуковых фильмах можно услышать различные диалекты и речевые образцы, характерные для японского языка. Такая полифония вполне уместно смотрится в фильмах жанра гэндайгэки, но это было абсолютно недопустимо в фильмах дзидайгэки, так как они требовали стандарта в диалогах и речах исторических персонажей. В каком-то смысле переход к звуку в кино стимулировал производство фильмов жанра дзидайгэки.

Бэнси пытались противостоять показу звуковых фильмов, только в 1932 г. зафиксировано 203 забастовки, но тщетно²⁶. Звук завоевывает свои позиции, а бэнси теряют работу. Часть из них приспособилась, оставшись в мире кино, став актерами, сценаристами, продюсерами. Другие, как брат Акиры Куросавы, совершили самоубийство. Так или иначе, в 1940 г. в Японии работали еще 1295 бэнси²⁷.

Несмотря на то, что число звуковых фильмов, созданных в Японии, неуклонно увеличивалось, и в 1935 г. звуковое кино стало доминирующей формой внутреннего производства, немые фильмы продолжали сниматься и цениться, и в 1937 г. пятая часть всех новых японских фильмов были немыми.

Хотя эпоха бэнси ушла в прошлое, нельзя сказать, что они исчезли совсем. Даже сейчас можно попасть на демонстрацию фильма в сопровождении бэнси, правда, это, как правило, специальные показы, показы в библиотеках, культурных центрах. Наиболее из-

вестным бэнси сегодня является Саваато Мидори, ученица Мацуда Сюсуй. В 1991 г. фильм Гриффита «Рождение нации» был показан по японскому телевидению именно в ее сопровождении. Она часто выступает не только в Японии, но и за границей, на различных фестивалях, где демонстрируются немые японские фильмы.

Примечания

- ¹ *Цивьян Ю.Г.* Историческая рецепция кино. Кинематограф в России 1896–1930. Рига: Зинатне, 1991.
- ² В раннем европейском и американском кинематографах также была фигура комментатора, но она просуществовала до начала 1910-х гг.
- ³ Показ фильмов в сопровождении бэнси прижился на Тайване. Первоначально роль бэнси играли японцы, но вскоре среди тайваньцев появились свои звезды, такие как Ван Юньфэн. К 1930 г. на острове работали 41 японский бэнси и 19 местных, к 1932 г. – соответственно 56 и 46: *Торопцев С.* Кинематография Тайваня. М.: Эдиториал УРСС, 1998. С. 13; *Zhang Yingjin.* Chinese national cinema. N. Y.: Routledge, 2004. P. 117. О развитии этой практики в Корее см.: *Maliangkay R.H.* Classifying Performances: The Art of Korean Film Narrators // Image and Narrative. Online Magazine of the Visual Narrative. 2005. Issue 10 [Электронный ресурс]. URL: <http://www.imageandnarrative.be/inarchive/worldmusica/roaldhmaliangkay.htm> (дата обращения: 15.09.2015).
- ⁴ *Anderson J.L.* Spoken silents in the Japanese cinema, essay on the necessity of katsu-ben // Journal of Film and Video. 1988. Vol. 40. № 1. P. 18.
- ⁵ *Ibid.* P. 17.
- ⁶ *Dym J.A.* Benshi and the Introduction of Motion Pictures to Japan // Monumenta Nipponica. 2000. Vol. 55. № 4. P. 517–518.
- ⁷ *Anderson J.L.* Op. cit. P. 15; *Dym J.A.* Benshi and the Introduction... P. 518.
- ⁸ Цит. по: *Dym J.A.* Benshi and the Introduction... P. 518.
- ⁹ *Ehrlich L.C.* Talking about Pictures: The Art of the Benshi // Cinemaya: The Asian Film Quarterly. 1995. Vol. 27. P. 34.
- ¹⁰ *Dym J.A.* Benshi, Japanese Silent Film Narrators, and Their Forgotten Narrative Art of Setsumeji: A History of Japanese Silent Film Narration. Lewiston: Edwin Mellen Press Ltd., 2003.
- ¹¹ *Ehrlich L.C.* Op. cit. P. 34.
- ¹² *Dym J.A.* Benshi and the Introduction... P. 528.
- ¹³ *Hideaki Fujiki.* Benshi as Stars: The Irony of the Popularity and Respectability of Voice Performers in Japanese Cinema // Cinema Journal. 2006. № 2. P. 68–69.
- ¹⁴ *Richie D.* A Hundred Years of Japanese Film. Tokyo; N. Y., L.: Kodansha International, 2005. P. 20.
- ¹⁵ *Ibid.*

- ¹⁶ *Gerow A.* The Word before the Image: Criticism, the Screenplay, and the Regulation of Meaning in Prewar Japanese Film Culture // *Word and Image in Japanese Cinema*. Cambridge: Cambridge University Press, 2000. P. 7.
- ¹⁷ *Richie D.* Op. cit. P. 21–22.
- ¹⁸ *Gerow A.* Op. cit. P. 7–8.
- ¹⁹ *Burch N.* To the Distant Observer: Form and Meaning in the Japanese Cinema. Berkeley: The University of California Press, 1979. P. 75–80.
- ²⁰ *Kirihara D.* Patterns of time: Mizoguchi and the 1930s. Madison: University of Wisconsin Press, 1992. P. 60.
- ²¹ *Anderson J.L.* Op. cit. P. 20, 28.
- ²² С начала 1920-х гг. доля иностранных фильмов на японском рынке начала уменьшаться, к 1925 г. японские кинофильмы стали доминирующими на внутреннем рынке, и эта ситуация сохранялась до 1970 гг.: *Anderson J.L.* Op. cit. P. 29; *Ehrlich L.C.* Op. cit. P. 34.
- ²³ В 1910-х гг. появилась новая форма «смешанных медиа» (Дж. Андерсон) – рэнсагэки, или «цепочечная драма» (chained drama), где драматическая игра была объединена с фильмом. После показа части фильма актеры на сцене проигрывали диалог. Часто такой показ сопровождался комментарием бэнси. Однако эта форма перестала существовать после 1917 г. (*Anderson J.L.* Op. cit. P. 18).
- ²⁴ *Goodwin J.* Akira Kurosawa and intertextual cinema. Baltimore: Johns Hopkins University Press, 1994. P. 34.
- ²⁵ Вероятно, тот факт, что раньше титры в фильмах не использовались, является прямым результатом влияния бэнси.
- ²⁶ *Anderson J.L.* Op. cit. P. 30.
- ²⁷ *Ibid.* P. 26.

АКТИВИЗАЦИЯ ЗРИТЕЛЯ В СОВРЕМЕННОМ ТЕАТРЕ: СЕМИОТИЧЕСКИЙ И ПЕРФОРМАТИВНЫЙ АСПЕКТЫ

В исследованиях современного театра (постдраматического, если воспользоваться термином, предложенным Х.-Т. Леманом, или в состоянии «после перформативного поворота» по Э. Фишер-Лихте) особое внимание уделяется описанию активизации зрителя как действующего субъекта, как со-творца. В первую очередь теоретиков интересует перформативный аспект, связанный с телесностью актеров и зрителей и с изменениями условий театральной коммуникации. В статье акцент делается на смыслообразовании как на сложном процессе, способствующем вовлечению зрителя, и на том, как «открытые» театральные произведения конструируют (но никогда не предопределяют до конца, во всех возможных вариантах) зрительскую активность. При этом семиотическое и перформативное измерения спектакля не противопоставляются в жесткой оппозиции. В качестве кейса выбран спектакль «Лестничная клетка» театра «Около дома Станиславского».

Ключевые слова: постдраматический театр, перформативный поворот, театральная коммуникация, зритель, субъект, восприятие, смыслообразование.

Исследователи отмечают, что театральный зритель традиционно описывается как пассивный (разумеется, прежде всего имеется в виду то, что называется реалистически-психологическим театром, связанным с понятиями «мимесис» и «иллюзия»). Эту установку ясно артикулирует и проблематизирует как спорную Жак Рансьер в своей работе «Эмансипированный зритель». Он задается вопросом о том, «не является ли приравнение смотрения к пассивности следствием предпосылки, согласно которой смотреть – значит упиваться изображением, видимостью,

игнорируя правду, которая за изображением, и реальность за пределами театра? Не является ли уподобление процесса слушания пассивности следствием предрассудка, согласно которому слова противоположны действию?»¹. Впрочем, сейчас я хотела бы указать не на способы оспорить обозначенные Рансьером посылки и «предубеждения» (к этому я вернусь позднее), но лишь вслед за французским философом указать на их распространенность.

В контексте представлений о традиционной зрительской пассивности вопрос об активизации зрителя в пространстве театральной коммуникации занимает как практиков, так и теоретиков сценического искусства уже более ста лет. Своего рода отправной точкой здесь становятся эксперименты авангарда. Так, например, основатель футуризма Маринетти в манифесте «Музик-холл» предлагал «наудачу пролить клею на кресла, чтобы приклеившиеся господин или дама вызвали всеобщий смех. <...> Продать одно и то же место десяти лицам: нагромождение, споры и ожесточенная брань, которые последуют. Предложить даровые места мужчинам или дамам, явно помешанным, раздражительным или эксцентричным, способным вызвать неимоверный гвалт, щипля женщин, или другими странностями. Пересыпать кресла порошком, вызывающим зуд и чихание»². Маринетти описывает способ активизировать зрителя, вывести его из пассивности посредством шока, возникающего от несоответствия привычным ожиданиям относительно правил и норм поведения в «культурном месте». Иными словами, вместо ситуации зрительского комфорта и четкого понимания своей роли, «прав и обязанностей» посетителю театра предлагают (пусть гипотетически, на уровне манифеста) ситуацию хаоса, неопределенности и дискомфорта, что должно априори активизировать «буржуазного» потребителя зрелища, выбить его из состояния равновесия.

Однако при всей радикальности предлагаемых Маринетти изменений, как и в традиционном театре, зритель остается в этом манифесте *объектом* воздействия, пусть и воздействия для театра нетипичного, а *субъектами* в этой ситуации являются те, кто режиссируют описываемую Маринетти сумятицу. Парадигмально иной подход к активизации зрителей предполагается в современном театре, постдраматическом (если воспользоваться терминологией, предлагаемой Хансом-Тисом Леманом³) или в театре после перформативного поворота (если следовать Эрике Фишер-Лихте⁴). Выбирая слово «постдраматический» для описания современного театра, Леман отсылает нас (с развернутыми оговорками) к постмодернистскому состоянию культуры. Выбирая слово «перформа-

тивный» как ключевое, Фишер-Лихте, сделав экскурс в историю понятия и сославшись на Дж. Остина и Дж. Батлер, ставит акцент на соотношении актуальных театральных практик с современным искусством и жанром перформанса. Таким образом, исследовательские оптики Лемана и Фишер-Лихте несколько отличаются. Однако для каждого из этих влиятельных исследователей современного театра крайне значимым оказывается процесс превращения зрителя из *объекта* воздействия в полноценного *субъекта*, со-творца театрального представления. Именно «субъективизация» зрителя, активизация зрителя как действующего субъекта, создающего смыслы, осознающего себя в процессе коммуникации, выбирающего свою позицию, по-видимому, оказывается основным признаком актуального спектакля. Это позволяет поместить театр в сложный, многослойный контекст современных тенденций в русле новых медиа, где аудитория – равноправный участник коммуникации, способный ответить высказыванием на высказывание, создатель моды (с «трендом» к самостоятельному переделыванию готовой одежды), организации городского пространства (к которой привлекают горожан, предлагая им самим создавать идеи среды), современного искусства.

Все это предполагает изменение представлений о зрителе как таковом. Теоретики театра (в частности семиотик Патрис Пави в статье «Зритель» из «Словаря театра»⁵) обозначают двойственность позиции зрителя. Он одновременно ощущает себя частью «толпы», «публики», т. е. некой общности, и в то же время остается индивидуальностью. Если для традиционного (как и для авангардного) театра важнее, по-видимому, оказывается коллективная природа зрителя и некоторая «гомогенность» переживания, захватывающего публику по замыслу авторов в тот или иной момент, то театр современный, принимая во внимание всю важность совместного проживания театрального опыта, делает акцент на множественности зрительских точек зрения. Так, Х.-Т. Леман видит в постдраматическом спектакле предложение «создать сообщество разнородных и уникальных воображений»⁶.

Анализируя различные способы активизации зрителя в современных театральных произведениях, и Фишер-Лихте, и Леман, пожалуй, в первую очередь акцентируют внимание на «физическом соприсутствии актеров и зрителей». Именно работа создателей спектаклей с категорией телесности или на уровне телесности позволяет в особенной степени и особым образом «включить» зрителей в представление: дать им возможность на новом уровне взаимодействовать с перформерами (в этой связи Фишер-Лихте даже

вводит конструкцию «обмен ролями», имея в виду превращение зрителей в актеров в таких экспериментах, как, например, «Дионис в 69» Ричарда Шехнера с совместными танцами актеров и зрителей и шествием по улицам Нью-Йорка) или в других случаях сочувствовать, ощущать свою личную сопричастность происходящему и «со-природность» артистам.

Также современные теоретики театра уделяют большое внимание сдвигам в условиях театральной коммуникации, ситуациям, когда спектакль идет вне театра (например, в торговом центре или на улицах города) или когда театр совмещается с другими формами медиа (использует камеры и экраны и т. д.). Такое изменение привычных сценариев, несомненно, активизирует зрителя через чувство неопределенности, сомнения и необходимость личного выбора в ответах на вопросы «а началось ли уже представление?», «а театр ли передо мной?», «кто здесь актеры, а кто – зрители?».

Однако меня интересует другая ситуация. А именно, активизация зрителя в системе, в которой традиционно соблюдены границы между площадкой для игры и зрительным залом, спектакль начинается после третьего звонка, а проблема телесности (взаимодействия и присутствия), судя по всему, не становится первой по значимости ни для создателей постановки, ни для зрителей. Иначе говоря – активизация зрителя через интерпретационное сотрудничество.

Разговор об интерпретации – это разговор о конструировании или возникновении смыслов. Само понятие «смысл» (в герменевтическом ракурсе) проблематизировано в поле исследований современного театра, если не сказать «оттеснено на периферию». Так, Леман замечает: «... нам приходится признавать за театральными знаками способность функционировать именно благодаря отступлению означающего. <...> нам крайне важно вырабатывать специальные формы анализа и дискурса для чего-то, что, если уж сказать совсем просто, все равно остается как бы бессмыслицей, неким “не-смыслом” в означаемом»⁷. Слово «смысл» представляется исследователю слишком определенным, а потому слишком «грубым» (если рассматривать его с инструментально-методологической точки зрения) для разговоров о той сложной ситуации «двузначности и амбивалентности» (согласно формулировке Лемана), которую представляет собой актуальная театральная коммуникация.

В свою очередь Эрика Фишер-Лихте уделяет особое внимание проблеме смысла и смыслообразования. Она выстраивает рассуждения вокруг этой темы согласно общему для всего ее исследования алгоритму. Фишер-Лихте обозначает систему оппозиций, а затем

разрушает ее, снимает кажущееся противоречие, акцентируя внимание читателей на «пограничных ситуациях», переходах, переключениях (в режимах восприятия и репрезентации). Фишер-Лихте вводит категории «смысла» и «воздействия» театрального зрелища на зрителя как противоположные, а затем предлагает посмотреть на ощущения как на смыслы, приходя к выводу о том, что «семиотический и перформативный аспекты спектакля не противоречат друг другу и уж никак не являются противоположностями»⁸. Кроме того, в процессе смыслообразования Фишер-Лихте выделяет два модуса: модус репрезентации (условно «активный»), связанный с «расшифровкой», целенаправленным конструированием зрителем смысла, и модус присутствия (условно «пассивный»), в котором субъект поддается ассоциациям, мыслям, ощущениям, возникающим в его сознании произвольно. Переключения между этими модусами, конечно, невозможно контролировать, они возникают спонтанно: «В ходе подобных процессов смыслообразования субъект занимает как активную, так и пассивную позицию»⁹.

При этом автор «Эстетики перформативности» обращает внимание на то, что «процесс смыслообразования ... подразумевает следующее: каждый участник оказывает влияние на этот процесс и испытывает его влияние на себе, не будучи в состоянии полностью контролировать развитие этого процесса»¹⁰. В театре «зритель является частью и генератором процесса, который он хочет понять»¹¹, потому что спектакль каждый раз меняется в присутствии новых зрителей, зависит от их реакций и проявлений, от их включенности, собственно, представление и рождается как уникальная встреча здесь и сейчас зрителей и перформеров.

Согласно Фишер-Лихте, полноценная интерпретация спектакля после его завершения (например, в форме письменного отзыва на форуме в сети Интернет или даже критической статьи для издания) невозможна. Потому что смыслообразование, по ее концепции, связано с ситуациями неопределенности, спонтанных, неконтролируемых переключений модусов восприятия непосредственно по ходу действия, а также имеет отношение к тому, что в русском переводе определяется как «автопоэтическая петля ответной реакции», то есть к взаимовлиянию зрителей и зрелища. Кроме того, исследовательница отмечает, что на интерпретацию спектакля постфактум влияют особенности человеческой памяти, склонной к абберациям, и непереваемость невербальных смыслов в слова. Таким образом, на основании сказанного Фишер-Лихте можно сделать вывод о том, что в разговоре о «смысле» спектакля акцент плодотворнее делать не на готовых непротиворечивых ин-

терпретациях, продуцируемых после и вне театрального опыта, а на описании предпосылок ситуаций нестабильности в модусах восприятия и трудностей, которые спектакль представляет с точки зрения процесса конструирования и рождения смыслов.

Безусловно, моменты неоднозначности, возникающие в восприятии зрителя по ходу действия, и переключения модусов восприятия (от модуса репрезентации к модусу присутствия), а также поток личных ассоциаций, который рождается в голове того или иного зрителя в связи с его личным жизненным опытом, невозможно контролировать. Ни один создатель спектакля не в силах предсказать все гипотетические смыслы и реакции зрителей. Также не вызывает сомнения то, что ситуации дестабилизированного восприятия и сложности в смыслообразовании могут возникать, помимо воли авторов постановки, даже в случаях самых традиционных спектаклей, когда их создатели полагают, что заложили в спектакль вполне определенный «смысл», и не намерены при этом считаться с теми «искажениями», которые могут в него привнести конкретные зрители. Тем не менее, принимая во внимание то, что зритель неизбежно и всегда оказывается в ситуации между «смыслом» и «воздействием», между «репрезентацией» и «присутствием», стоит говорить о том, что есть постановки, в которых моменты неопределенности и игры с модусами восприятия заложены в самой их конструкции.

К рассуждениям о проблеме выбора и свободы реципиента я бы хотела привлечь, помимо современных теоретиков театра, некоторые тезисы Умберто Эко из его сборника эссе «Роль читателя» (а именно из части, посвященной поэтике «открытого произведения»). Как известно, Эко в своей работе вводит понятие «М-читателя» (читателя как модели), в противоположность читателю «из плоти и крови» (и в этом следует идеям рецептивной эстетики). Под «М-читателем» Эко подразумевает «некоего “адресата” в качестве абстрактного, но существенного составного элемента в процессе актуализации текста»¹². И далее, в зависимости от того, как конструируется образ М-читателя, от степени его свободы и предполагаемой интенсивности интерпретационного сотрудничества делит все тексты (тексты понимаются здесь широко: как музыкальные, кинематографические, литературные и т. д.) на «открытые» и «закрытые». В контексте разговора о зрителе в ситуации выбора важным и продуктивным представляется одно из определений «открытого» произведения, приводимое Эко (современный спектакль может быть назван одним из примеров «открытого произведения»): «“Открытость” и динамичность произведения ис-

куства – это возможность различных пополнений (*integrazioni*), творческих дополнений (*complementi produttivi*), которая наделяет произведение – даже незавершенное – некоей структурной vitalностью (*the structural vitality, una vitalità strutturale*), находящей себе различные и многообразные проявления (*esiti*)»¹³.

Хотелось бы обратить внимание на парадокс в рассуждениях Эко об «М-читателе» и «открытом» произведении. «М-читатель» как сконструированная фигура, как адресат, к которому обращается и с которым общается автор, предполагает некоторую унифицированность: он обладает определенным набором читательских компетенций, т. е. предстает как единый субъект (в гносеологическом смысле). В то же время, говоря об «открытом» произведении, Эко постоянно отсылает к идеям множественности взглядов, точек зрения и позиций: «Проблема соотношения между объектом и его онтологической основой при таком подходе (постулирующем “открытость” восприятия) заменяется проблемой соотношения между объектом и тем множеством разнообразных восприятий, которое мы можем от него получить»¹⁴.

Эко помещает размышления об открытости произведения в сложный контекст (физики, логики, психологии, философии). Сегодня этот ход может показаться довольно тривиальным, но современным исследованиям о театре зачастую не достает именно конструирования контекстов. Кроме того, Эко помогает определить ракурс, в котором разговор о смыслообразовании может представляться актуальным и продуктивным. Он делает акцент на взаимодействии текста и реципиента: «Читатель не может использовать текст так, как ему, читателю, хочется, но лишь так, как сам текст хочет быть использованным»¹⁵. Тезис о том, что сама свобода реципиента, особым образом его «активизирующая», и множественность восприятия в случае театральных постановок определенного типа могут быть осмысленно заложены создателями спектакля (но никогда не просчитаны до конца), представляется важным. Таким образом, Эко помогает настроить исследовательскую оптику не на формулирование конкретных интерпретаций, а на саму ситуацию смыслообразования (и здесь его позиция оказывается в чем-то родственной установкам современных исследователей театра).

В качестве кейса для демонстрации активизации и «субъективизации» зрителя современного спектакля в поле смыслообразования я выбрала постановку «Лестничная клетка» по пьесе Людмилы Петрушевской в театре «Около дома Станиславского», режиссер Юрий Погребничко. С одной стороны, спектакль Погреб-

ничко представляется мне некоторым почти идеальным примером, иллюстрирующим положения теорий о состоянии современного театра. Иными словами, мой тезис заключается в том, что театр Погребничко по-настоящему современен, и способы активизации зрителя, которые в нем практикуются, могут быть отнесены к «постдраматическим» и/или соответствующим «перформативному повороту». С другой стороны, «Лестничная клетка» представляет собой сложную и интересную проблему для исследователей театра, филигранно тонкий спектакль оказывается в некотором роде проверкой теории на адекватность, на способность выражать многозначность, амбивалентность и непредсказуемость театрального зрелища и сложность позиции зрителя в нем с предполагаемыми переключениями «модусов восприятия». Из всех постановок репертуара выбрана именно «Лестничная клетка» потому, что она нередко воспринимается и описывается как показательная для театра Погребничко. Например, критик Дина Годер пишет: «“Лестничная клетка” – классический вариант театра Погребничко, его обшарпанной эстетики и иронии, смешанной с надеждой»¹⁶.

Прежде чем контурно обрисовать основные способы активизации зрителя, которые, на мой взгляд, представлены в «Лестничной клетке», я хотела бы представить контекст театра в целом, ведь то, что зритель становится зрителем не в момент начала спектакля, а раньше (погружаясь в ситуацию «поход в театр» – с выбором соответствующего костюма на вечер или отказом от «специальной» формы одежды, покупкой цветов для артистов и т. д.) – это уже общее место теории театра.

Говоря о театре «Около дома Станиславского», в первую очередь, хочется обратить внимание на то, что это театр без фасада. Большая сцена театра (здание, выходявшее фасадом с афишами непосредственно в Вознесенский переулок) сгорела более десяти лет назад, в 2004 г. До сих пор она не восстановлена. Поэтому все постановки «Около» играют на малой сцене всего на семьдесят мест. Согласно легенде, она располагается на месте бывшего каретного сарая К.С. Станиславского, вход прячется во дворах.

Здание, в котором находится старая сцена, называется по-итальянски – «La Stalla» (табличка с названием, окруженным лампами гирлянды, располагается над входом). И уже в этом названии содержится призыв к игре, обращенный к зрителю. Во-первых, «la stalla» в переводе значит «конюшня»; и подчеркивание, а не стыдливое скрывание того факта, что ранее на месте театра был каретный сарай, конечно, много говорит об ироничности и широте взглядов команды под руководством Погребничко. Во-вторых, не-

которое созвучие заставляет вспомнить о знаменитом итальянском оперном театре Ла Скала (La Scala). У Погребничко в спектаклях ведь тоже много поют – советские песни и лагерные, Окуджаву и из репертуара Аиды Ведищевой. Хотя особенная манера пения этого театра радикально отличается от оперной, ее, вероятно, можно охарактеризовать как человеческую. Здесь не боятся недостатков, невзятых нот, сбившегося дыхания и ритма.

Кроме того, такое возможное сопоставление с роскошным оперным театром означает одновременно отсутствие и присутствие: отсутствие люстр, бархатных кресел и пыльных кулис, но присутствие особенного духа театральности, конечно, очень различного в La Scala и у Погребничко. Наконец, в-третьих, для кого-то «La Stalla» может остаться просто непонятым, но красивым словом на неопределенном иностранном языке. И тогда гипотетическому зрителю, возможно, придется придумывать самому, что оно могло бы значить, – и в этом, безусловно, есть «открытость» в том значении, в котором о ней пишет Эко.

Руководитель театра Юрий Николаевич Погребничко в своих немногочисленных интервью неизменно выступает против какого бы то ни было формулирования глубоких смыслов. Журналисты же, напротив, ждут от режиссера-философа (именно таким нередко представляют Погребничко) каких-то истин в духе Заратустры Ницше. В беседе с молодым театроведом Алексеем Киселевым Погребничко замечает: «Ну вот вы спрашиваете про что-то важное – я работаю с художником Бахваловой, она к костюмам пришивает, например, елочные игрушки. А елочная игрушка для нее – это детство, умершие родители, дом, которого теперь нет, и так далее. Ее чувство отзывается в костюме. А отзывается ли это чувство в ком-то еще, этого ты никак не проверишь, судить можно только по себе»¹⁷. Кажется, «судить можно только по себе» Погребничко может быть соотнесено с тезисом Фишер-Лихте о том, что «процесс восприятия ведет не к попытке понять спектакль, а к попытке понять себя и собственную биографию»¹⁸. При этом в центре внимания опять оказываются не интерпретации, а сам процесс смыслообразования на уровне каждого конкретного зрителя в зале с его неповторимой биографией. Попытаемся на нескольких примерах рассмотреть, как то пространство смысловой и эмоциональной свободы реципиента, о которой говорит Погребничко («А отзывается ли это чувство в ком-то еще, этого ты никак не проверишь»), выстраивается в его спектакле.

Одноактная пьеса «Лестничная клетка» Людмилы Петрушевской 1974 г., часть цикла «Квартира Колумбины» – это очень корот-

кая (по объему текста) история без «монтажных склеек»: течение времени для героев, как кажется, совпадает со временем читателей, разговор трех персонажей происходит здесь и сейчас, он ничем не прерывается. Помимо «единства времени», соблюдено и «единство места»: все действие, если следовать ремаркам и скрытым указаниям, содержащимся в пьесе, происходит на лестничной клетке советского многоквартирного дома («Сцена представляет собой лестничную площадку»¹⁹). Одинокая женщина (Галя), двое мужчин, один из которых (Юра) пришел на первое свидание «вслепую» (в качестве сводницы выступила парикмахер, внесценический персонаж), а второй (Слава) сопровождает приятеля. Вся интрига или весь «драматизм» разговорной истории, в которой, в общем, ничего не происходит (или, иначе говоря, в которой нет событий), в том, как постепенно меняется представление читателя о Юре и Славе. Персонажи оказываются не теми, кем представляются (сотрудниками научного института), не теми, кем кажутся вначале (женихами в поисках невесты, такими героями гоголевской «Женитьбы», но в позднесоветском антураже), а в финале превращаются вообще в нечто метафизическое, заявляя о том, что их, как выясняется, музыкантов похоронного оркестра и пьяниц, долго ждать с их «музыкой» не приходится: «Мы наготове со своей музыкой»²⁰.

Персонажи Петрушевской Юра и Слава появляются в постановке Погребничко в костюмах, напоминающих форму офицеров российской империи: фуражки, мундиры, погоны, португали, георгиевские кресты, начищенные сапоги... Таким в пору было бы появиться в дореволюционном фотоателье, чтобы сделать карточку на память, а не в советском подъезде. Между тем обшарпанный лифт, довольно нелепый костюм главной героини, текст Петрушевской (с упоминанием удачно обитой клеенкой прихожей и портвейна «Сурож») вполне определенно отсылают нас к советскому. Таким образом, зритель сразу, с первых минут спектакля сталкивается с некоторым несоответствием, несопадением, *разрывом*.

В этой связи я хотела бы вспомнить рассуждения Фишер-Лихте о герменевтическом усилии, которое зритель предпринимает для того, чтобы создать персонажа, вымышленный мир или символическую структуру: «Поскольку спектакль как целое невозможно объять взглядом, то воспринимающий субъект может интерпретировать порождаемого им персонажа лишь на основе созданных им на данный момент смыслов. В подобных условиях интерпретации ... можно сравнить с пробными гипотезами, позволяющими продолжить процесс формирования персонажа»²¹. Сформировать эту пробную гипотезу зрителю Погребничко сразу оказывается

затруднительно (из-за обозначенного разрыва), по крайней мере в сравнении с традиционными спектаклями, построенными по законам психологического театра. Это затруднение ведет к активизации зрителя как зрителя, как субъекта, избирающего свою позицию и роль.

И здесь представляется несколько возможных стратегий. Либо зритель попытается собственными усилиями заполнить этот разрыв, выстроить свой собственный «интерпретационный мост» между советскими реалиями текста и элементов обстановки и внешним видом героев. Тогда гипотетический зритель может вспомнить, например, о том, что Погребничко нередко в своих постановках соединяет эстетику советского с фрагментами текстов А.П. Чехова – и «прочитать» в форме Юры и Славы что-то чеховское и дальше выстраивать свою модель в этой плоскости. Или может обратить внимание на фрагмент текста Петрушевской, в котором героиня вспоминает свою бабушку-смолянку, бывшую аристократку, всегда державшую спину, даже в инвалидной коляске, – и начать строить свои интерпретации от этого фрагмента. Или может попытаться объяснить внешний вид героев их связью с темой смерти (они ведь в конечном итоге оказываются музыкантами похоронного оркестра), времени, а значит, ушедшего, прошлого и т. д. Число интерпретационных ходов здесь неисчислимо, для меня важно лишь сделать акцент на моменте активизации зрителя.

Другая зрительская стратегия может предполагать отказ от выстраивания связей там, где они неочевидны. Здесь также возможны различные сценарии. Либо зритель просто может отказаться от игры по предлагаемым ему правилам и увидеть в спектакле «ерунду», «чужь», «бессмыслицу». Даже в этом случае он оказывается в ситуации активизации, потому что он делает свой собственный выбор. Либо зритель может задуматься о том, обязательно ли тот или иной элемент на сцене должен иметь логичное объяснение и встраиваться в единую непротиворечивую систему? И нет ли особого удовольствия в том, чтобы смотреть на вещь на сцене как на вещь, а не как на означающее, видеть ее материальность, фактуру (в данном случае все это может быть отнесено к военной форме героев)? Тогда этот зритель, вероятно, достаточно продвинутой, опытный может прийти к выводам, подобным тем, который сформулировал Леман: «Новый театр требует “снятой” семиотики и “отпущенного” значения»²². Конечно, подобный вывод предполагает большую зрительскую активность: осмысление собственной позиции в театре и привычных механизмов смыслообразования, проблематизацию связи «слов и вещей».

Вопрос о том, как ювелирно Погребничко конструирует взаимоотношения зрителя и зрелища, безусловно, требует более развернутого высказывания, нежели статья. В данном же случае я ограничусь еще одним примером из «Лестничной клетки». Помимо разрывов между означающим и означаемым, «смыслом» и фактурой вещи, Погребничко закладывает в своих постановках и особого рода разрывы повествовательные, нарративные (связанные с рассказыванием историй). Если зритель, ожидания которого в той или иной степени воспитаны реалистическим театром, ожидает от заявленной ситуации «первое свидание» или «встреча трех людей» поэтапного развития, вероятно, он будет разочарован. «Нормальному» разворачиванию истории препятствуют повторы (в одном из моментов герои внезапно повторяют небольшой фрагмент разговора слово в слово и «жест в жест», не отходя от пластического рисунка). И главное – вставные номера, разрывающие структуру действия. Эти номера (например, довольно длинный танец странного, внезапно появившегося персонажа, одетого так же, как Юра и Слава, в военную форму и как будто из-под палки, без всякой радости исполняющего несколько раз один и тот же набор движений под песню одного из советских ВИА 1970-х) не позволяют зрителю погрузиться в иллюзию, привычно сочувствовать персонажам и спокойно следить за ходом сюжета. К концу длинного номера с танцем зрителю трудно вспомнить, на какой эмоциональной и смысловой ноте прервался диалог героев, ситуация все время обнуляется. Конечно, здесь имело бы смысл говорить о сложной временной организации спектакля: разговор «здесь и сейчас» героев Петрушевской на сцене оказывается чем-то вроде временной воронки или постепенно засасывающей воронки безвременья, однако меня сейчас интересует несколько иной аспект. С точки зрения разговора об активизации зрителя важно заметить, что этот спектакль не позволяет зрителю забыть о том, что он – зритель и находится в театре. Разрывы в истории, повторы, вставные номера делают зрелище «неестественным», они напоминают о том, что перед зрителем не «игра в правду» или «игра в жизнь», а в первую очередь собственно игра, и он, зритель, является ее важным и полноправным участником, нужно лишь понять, по каким правилам эта игра устроена, чтобы в нее включиться.

Эпатирует ли режиссер Погребничко публику, одевая героев в «неподобающие» костюмы как будто без всякой причины? Или вставляя в действие длинный танец внезапно и ниоткуда появившегося нового персонажа? Представляется, что нет. Потому что

эпатаж предполагает более направленное и определенное воздействие на объект (зрителя), попытку вызвать некоторый заранее предсказанный спектр чувств и реакций (вспомним цитату из Маринетти, приведенную в начале статьи). Погребничко же активизирует зрителя, дает ему пространство для сотрудничества, что предполагает неопределенность результата и смещение внимания с результата на процесс. Вероятно, может возникнуть вопрос о том, значит ли что-то та сложно устроенная «бессмыслица», с которой сталкивается зритель изначально, для самих создателей постановки? Судя по всему, можно ответить утвердительно. Однако это отнюдь не означает, что тот смысл, который вкладывался создателями, и оказывается единственно верным или вообще более «привилегированным», чем зрительские версии. Или, выражаясь словами Лемана: «В новом театре не может быть и речи о “дискурсе” некоего театрального творца, – разве что мы будем понимать сам глагол “dis-currere” в его изначальном смысле, то есть как действие “рассеивания”, “распространения”»²³.

Примечания

¹ *Rancière J.* Le spectateur émancipé. P.: La fabrique editions, 2008. P. 18.

² *Маринетти Ф.Т.* Музик-холл // Манифесты итальянского футуризма. М.: Тип. русского тов-ва, 1914. С. 77.

³ *Леман Х.-Т.* Постдраматический театр. М.: Фонд развития драматического искусства, 2013.

⁴ *Фишер-Лихте Э.* Эстетика перформативности. М.: Канон-плюс, 2015.

⁵ *Пави П.* Словарь театра. М.: Прогресс, 1991.

⁶ *Леман Х.-Т.* Указ. соч. С. 135.

⁷ Там же. С. 133.

⁸ *Фишер-Лихте Э.* Указ. соч. С. 281.

⁹ Там же.

¹⁰ Там же. С. 280.

¹¹ Там же. С. 283.

¹² *Эко У.* Роль читателя. Исследования по семиотике текста. СПб.: Симпозиум, 2007. С. 13.

¹³ Там же. С. 111.

¹⁴ Там же. С. 106.

¹⁵ Там же. С. 21.

¹⁶ *Годер Д.* Вершинины на лестничной клетке // Русский журнал [Электронный ресурс]. URL: <http://www.russ.ru/pole/Vershininy-na-lestnichnoj-kletke> (дата обращения: 01.09.2015).

- ¹⁷ *Погребничко Ю.* Театр, может, штука и никчемная, но какая-то легкая... Ну как цветы // Афиша [Электронный ресурс]. URL: <http://vozduh.afisha.ru/art/teatr-mozhet-shtuka-i-nikchemnaya-no-kakayato-legkaya-nu-kak-cvety/> (дата обращения: 30.08.2015).
- ¹⁸ *Фишер-Лихте Э.* Указ. соч. С. 284.
- ¹⁹ *Петрушевская Л.* Лестничная клетка // Петрушевская Л. Три девушки в голубом. М.: Искусство, 1989. С. 202.
- ²⁰ Там же. С. 214.
- ²¹ *Фишер-Лихте Э.* Указ. соч. С. 293.
- ²² Там же.
- ²³ *Леман Х.-Т.* Указ. соч. С. 52.

СУБКУЛЬТУРЫ: ЯЗЫКИ ОПИСАНИЯ В МЕНЯЮЩИХСЯ СОЦИОКУЛЬТУРНЫХ КОНТЕКСТАХ

В статье прослеживается изменение аналитического языка субкультурных исследований в контексте трансформаций социальности при переходе от модерна к постмодерну. Выделяются и сравниваются три сменяющих друг друга основных подхода к определению субкультуры: как девиации, как сопротивления, как потребительского стиля. Этот сдвиг рассматривается как следствие глубинных социокультурных преобразований – размывания классовой структуры и ослабления гегемонии единой образной массовой культуры.

Ключевые слова: субкультура, постсубкультура, модерн, постмодерн, класс, девиация, сопротивление, стиль потребления.

Язык социально-гуманитарного знания, с одной стороны, чрезвычайно подвижен, но с другой – весьма консервативен. Ощущая изменения, исследователь не всегда готов заявить новые категории на смену уже существующим. Так, например, во второй половине XX века появляются понятия с приставкой «пост-»: постиндустриальное общество, постмодерн, постмодернизм, а также более локальные: постфеминизм, посткапитализм, постклассовое общество, постколониализм и т. п. Содержательно они малоинформативны, так как указывают не на новую сущность, а лишь на (вероятное) преодоление старой. Некоторые указания на характер новой социокультурной ситуации содержатся в таких формулировках, как «информационное общество», «общество знаний», «общество потребления» и др.

Подобная судьба сложилась и у пережившего свои взлеты и падения термина «субкультура». Его зарождение и бытование свя-

зано с развитием общества модерна – индустриальной городской буржуазной культуры – и становится в особенности актуальным после Второй мировой войны, когда базовые социальные и символические основания этой культуры подвергаются изменениям¹. Исследователи последних десятилетий предлагают понятие «пост-субкультура» как позволяющее учесть при анализе субкультурного многообразия специфику современного (постмодерного) состояния социума и культуры.

Цель данной статьи – проследить возникновение и развитие содержания понятия «субкультура» и выявить эвристический потенциал смены языка субкультурных исследований.

В статье в центре внимания оказывается западная традиция изучения субкультур, что обусловлено двумя основными причинами. Во-первых, отечественная социология оказалась относительно мало чувствительна к методологической рефлексии, в основном развиваясь в русле парсонсианской социологической модели (о которой будет сказано далее). Во-вторых, советские субкультурные исследования находились под сильным воздействием идеологических установок и задач культурной и молодежной политики. Осмыслению субкультур (особенно молодежных) в этом контексте как нельзя лучше отвечали функционалистские категории «нормы» и «девиации». За исключением отдельных исследований (Т.Б. Щепанской², Е. Омельченко³) большинство работ по субкультурам все еще носят описательный характер в рамках структурно-функционалистской парадигмы⁴. Кроме того, западные исследования, специально посвященные субкультурам, остаются большей частью малоизвестными, и им не уделяется должного внимания. Таким образом, одна из задач статьи – ввести в оборот ряд имен и концепций, незаслуженно обойденных вниманием в отечественном академическом поле.

В западной литературе существует немало историографических обзоров, посвященных субкультурным исследованиям, выделяющимся в особую область. Одна из наиболее интересных работ, обобщающих историю субкультурных исследований, принадлежит британскому социологу Кену Гелдеру⁵. Субкультура, как пишет Гелдер, является во многом результатом нарратива о субкультуре. В создании субкультур участвуют, с одной стороны, повествования самих ее членов, а с другой – повествования, рожденные в СМИ и академической среде. Гелдер, реконструируя логику подобных нарративов, предлагает выделить шесть наиболее признанных отправных точек для анализа субкультур. Позволю себе их перечислить.

Во-первых, субкультура рассматривается *в рамках классовой логики* – изначально как внеклассовое образование. Во-вторых, *в контексте отношения к труду*: в отличие от нормативного социально полезного труда субкультуры практикуют образ жизни, трактуемый как гедонистический или паразитарный. В-третьих, анализируется *отношение к собственности*: традиционное отношение к частной собственности нередко оспаривается в субкультурах, например, практикуется сквоттерство. Далее, логика *отношения к семье и частной жизни*: субкультуры обычно рассматриваются вне семейного контекста и традиционных ролей, субкультурная жизнь разворачивается за пределами семьи. Следующий подход рассматривает субкультуру в терминах *эксцесса, преувеличения, вызова* – прежде всего в области стиля (выбор одежды, музыки, манеры поведения). Наконец, субкультуры *противопоставляются массовой культуре* как результат недовольства ею⁶.

Следует заметить, что названные подходы, или логики, не являются изолированными и зачастую могут быть соотнесены между собой.

Субкультурные исследования – часть социологии культуры, которая, в самом общем плане, изучает соотношение между социальным и культурным (символическим) порядками. Представления о структуре социума являются определяющей рамкой дискурса о субкультурах. В меньшей степени такой рамкой можно назвать представления о «культуре». В основном здесь конкурируют две тенденции: культура, понимаемая как совокупность норм, ценностей и самовоспроизводящийся образец (функциональный подход) и культура как знаково-символическая реальность.

С учетом представлений как о социальной структуре, так и о культуре, можно предварительно выделить следующие интерпретации субкультуры, обладающие собственными языками описания:

- субкультура как девиация;
- субкультура как сопротивление;
- субкультура как потребление.

Субкультура как девиация

К. Гелдер начинает свое изложение истории субкультурных исследований с ее предыстории – погружения журналистов и «фланёров» в елизаветинский «underworld». Функцию субкультур (пока еще вне этого наименования) выполняют здесь социальные низы, выпадающие из производственно-классовой или сословной

структуры общества: это «люмпены», «деклассированные» элементы, низовые социальные группы, не имеющие собственных классовых интересов и самосознания. Приставка «суб-» может прочитываться как отсылка к этому исходному представлению о «подземных», скрытых этажах социума (ср. «андеграунд»).

Начало академическим субкультурным исследованиям положили труды представителей Чикагской школы. Отправной точкой их исследовательского интереса являлась сложная структура индустриального города начала XX века, в которой следовало выделить особую социальность групп иммигрантов, молодежных группировок, уличных банд.

Антропологический по сути подход, характерный для Чикагской школы, сделал субкультуры «видимыми», придав субъектность. Субкультуры при ближайшем рассмотрении предстают как полноценные формы социального объединения, существующие на основе собственных правил, ритуалов и ценностей, предлагающие своим участникам собственный вариант социализации. Таким образом, в отношении субкультур возникают следующие темы:

- субкультуры дают возможность групповой идентичности тем людям, для которых затруднено вхождение в нормативный социокультурный контекст (очень бедные, иммигранты, беспризорники и пр.);
- они предлагают путь выстраивания альтернативной «субкультурной карьеры» (продвижение внутри криминальной группировки, выдвижение в лидеры уличной банды и пр.).

В языке описания субкультур Чикагской школы появляются слова, маркирующие специфику субкультурной социальности: *племя*, *клан* (криминальный), *община*, заимствованные из словаря социальной/культурной антропологии и выражающие характер связей, отличный от связей в «обществе»: *Gemeinschaft* против *Gesellschaft*. Возможно, потребность в установлении социальности подобного рода является одной из причин возникновения субкультур в индустриальном городе. Личный, эмоциональный характер взаимоотношений создает ощущение безопасности внутри города с его отчуждением, атомизацией индивидов, формализацией и институционализацией связей всех типов.

Субкультуры, попавшие в зону внимания Чикагской школы, выступают как побочный продукт капиталистических отношений, социальная компенсация для людей, не вписавшихся в эти отношения. «Маргинальность» и «девиантность» – понятия, введенные Чикагской школой – показывают периферийность по отношению к сложившейся социальной структуре и отклонение

от культурной нормы, разделяемой большинством участников социокультурного процесса.

Развитие теории социальной структуры в американской социологии, в значительной степени наследовавшей социологию Э. Дюркгейма, выразилось в создании целостной теории общества в рамках структурного функционализма.

Сердцевиной структуры общества, по Парсонсу, является социетальная общность – совокупность индивидов и групп, разделяющих общую систему норм и ценностей, ориентирующихся на общий воспроизводящийся образец. Однако социология Парсонса учитывает и существование сверхнациональных (например, мировые религии) и межнациональных (смешанные семьи, мигранты) лояльностей⁷.

Подгруппы общества, как и индивиды, могут разделять нормативно-ценностные представления ядра общества с той или иной степенью лояльности. В этом отношении часть субкультур (Парсонс не пользуется этим понятием, но использует термин «подгруппа», коллектив, отдельно выделяя «ассоциацию» – добровольную самоорганизацию) носят более или менее нейтральный характер (например, профессиональные), другие имеют маргинальный характер (например, мигранты), третьи активно оспаривают нормы и ценности социетальной общности, в связи с чем их можно назвать «контркультурами».

Учение Р. Мертона об определяемых культурой целях и институционально заданных средствах – элементах, различное отношение к которым определяет характеристики групп (в том числе степень и характер девиации), вносит дополнение к идее лояльности групп по отношению к социетальной общности и друг к другу. Если *конформизм* в отношении к целям и средствам присущ социетальной общности, не противоречит ей и *ритуализм*, то для анализа субкультур наиболее адекватны такие формы социальной адаптации, как *ретритизм*, *инновация* и *мятеж*. Ретритизм предполагает отрицание как целей, так и средств и ведет к бегству от действительности – от предъявляемых обществом требований. Если применить эту конструкцию к субкультурам, то к группам подобного рода можно отнести бездомных («бомжей»), бродяг, наркоманов и пр. Использование незаконных способов достижения культурно признанных целей (разновидность «инновации») приводит к формированию криминальных субкультур. «Мятеж» предполагает отрицание как целей, так и средств, одобряемых обществом, и выдвижение на их место собственных: такому определению соответствуют контркультуры⁸.

Несмотря на то, что в целом структурно-функциональная теория не заостряет внимания на классовых отношениях внутри социальной системы, Мертон связывает девиацию с классовым положением: «Антисоциальное поведение в известном смысле “вызывается к жизни” некоторыми общепризнанными ценностями культуры и классовой структурой, сопряженной с различным доступом к возможностям законного, придающего престиж достижения обусловленных культурой целей... Реальное продвижение в сторону достижения символов успеха по общепризнанным каналам является вопреки отстаиваемой нами идеологии открытых классов... относительно редким и затруднительным для тех, кому мешает недостаточное формальное образование и скудные экономические ресурсы»⁹.

Следует отметить еще раз, что социологическое понятие «девиации» не имеет ничего общего с личностными характеристиками: речь идет не о психике, а о социальности, о коллективном феномене, связанном с существованием групп, по той или иной причине не разделяющих преобладающие в обществе нормы и ценности.

Субкультура как сопротивление

Важной линией развития теории субкультуры являются идеи представителей Бирмингемского центра современных культурных исследований. В значительной степени в них разделяется представление о том, что «девиантное» поведение является совершенно «нормальным» в определенных обстоятельствах. Субкультуры послевоенной Британии рассматриваются ими как структурный ответ на изменившиеся обстоятельства жизни.

Взаимосвязанными аспектами культурных исследований стали изучение молодежных субкультур, гендерные исследования, постколониальная идентичность. Лежащая в основе школы идеология «новых левых» побудила исследователей переосмыслить классовое сопротивление в контексте существования и активного формирования субкультур¹⁰. Культура представляется ими в духе теории культуры как многослойное образование, связанное с выражением различных социальных позиций. Культура правящего класса обладает по отношению ко всему культурному многообразию гегемонией, оспорить ее или вступить в конфронтацию с ней могут субкультуры. Так рождается идея «сопротивления через ритуал»: «Через одежду, деятельность, досуговые занятия и стиль жизни они [члены субкультуры] могут разработать иной ответ или

“решение” проблем, поставленных перед ними их материальным и социальным классовым положением и опытом... Они испытывают и отвечают на *те же основные проблемы*, что и другие члены их класса, которые не так сильно отличаются и выделены в “субкультурном” смысле»¹¹.

Сопrotивляющиеся гегемонии «герoические» (Магглтон) субкультуры – образ, соотносящийся с более или менее четким представлением о «классе», его границах и интересах. Характерным условием возникновения субкультур этого типа в послевоенное время в Британии является изменение образа жизни рабочего класса, его вовлечение в потребление и размывание классовых границ (включая, например, смену типа жилья). Молодежные субкультуры самоопределяются в этих условиях не только по отношению к доминирующей культуре, но и по отношению к «родительской» культуре рабочего класса (включая конформных представителей рабочей молодежи).

Невзирая на перемены, классовое неравенство сохраняется, становясь при этом менее «видимым». Любопытно, что часть субкультур (тедди-бойз, моды) разделяют тенденцию сглаживания различий. Тедди и моды практикуют потребительские стили, в целом копирующие практики более обеспеченных классов. Если они и «видимы» на потребительской сцене, то скорее в силу гипертрофированного следования стилю. В данном случае логика классового противостояния заменена упомянутой ранее «логикой эксцесса», характеризующей, на наш взгляд, потребительские аспекты молодежной культуры.

На этом фоне выделяются «бунтующие» субкультуры панков и скинхедов, каждая по-своему отражающие процессы, протекающие в классовой структуре общества. Так, появление молодежных контркультур может быть объяснено в контексте движения «новых левых» – как результат разочарования в политических (партии) и социально-экономических (профсоюзы) путях отстаивания классовых интересов. Понимание того, что эти формы борьбы существуют в рамках политической системы, соответствующей капитализму, заставляет молодежь выдвигать идеи анархизма и сформировать стилистику, бросающую вызов буржуазным ценностям (панки). Эстетика подчеркнутой принадлежности к рабочему классу, свойственная скинхедам, – реакция на процесс размывания классовых границ, идущая в противовес конформистскому стилю тедди-бойз и модов.

На первый взгляд, общее видение места субкультур в культуре в структурном функционализме и работах Бирмингемской школы различаются несущественно. В обоих случаях заявляется суще-

ствование спектра культур отдельных групп, находящихся с доминирующей культурой в отношениях разной степени напряжения. И все же смещение языка от противопоставления «норма – девиация» к оппозиции «гегемония – сопротивление» позволяет задать более заостренную критически исследовательскую позицию.

Важно подчеркнуть, что в субкультурных исследованиях Бирмингемской школы наряду с ценностями и устремлениями групп объектом анализа становится стиль¹². Проблематика стиля оказывается значимой в политическом аспекте – именно на этом поле молодежь в полной мере выражает свою идентичность и символическое сопротивление. В работе Д. Хебдиджа важнейшими понятиями становятся «бриколаж» и «гомология». *Бриколаж*, понятие, заимствованное у К. Леви-Строса, означает использование для создания стиля элементов, заимствованных из различных иных культурных контекстов, их переозначивание и комбинирование. Так, стиль панков включает в себя элементы, заимствованные из повседневной домашней жизни (булавки, бритвы), секс-шопов (кожаные ошейники, сетчатые чулки) и даже школьной жизни (рубашки – но испачканные, порванные, галстуки – но не завязанные). В результате создается образ, наделенный собственным смыслом, хотя и собранный из разрозненных элементов. Единство этого образа обеспечивается в том числе «поддержкой» со стороны музыкальных пристрастий, манеры поведения и стиля жизни, идеологией группы. Такое единство смысла на разных уровнях Хебдидж называет *гомологией*.

Существенным аспектом «сопротивления через стиль» является идеология DIY (Do It Yourself), маркирующая сопротивление субкультуры включению в массовую потребительскую культуру. Отказ от использования институциональных структур массового общества (например, звукозаписывающих студий, подготовленных площадок для выступления, в том числе ТВ-каналов, институтов производства моды) также является формой сопротивления и борьбы. Однако такого рода сопротивление со временем перерастает в конформизм и встраивание в потребительскую культуру: характерен в этом случае пример Вивьен Вествуд и Малкольма Макларена, чей опыт включенности в панк-субкультуру послужил основой формирования бренда: сдвиг от андеграундного существования к миру институциональной моды происходит за одно десятилетие: в 1971 г. Вествуд и Макларен открывают магазинчик с одеждой, ориентированной на субкультуры; в 1976 г. Вествуд создает «эталонную» для панка коллекцию костюмов для «Sex Pistols», в 1981 г., отойдя от стиля «панк», она выходит со своей коллекцией на Лондонскую неделю моды.

Субкультура как потребление

Один из наиболее авторитетных теоретиков постсубкультурных исследований Энди Беннет утверждает сам, а также ссылаясь на иных авторов, что само понятие «субкультуры» должно быть пересмотрено. «“Аутентичные” субкультуры были произведены теоретиками субкультур, а не наоборот. На самом деле популярная музыка и “девиантные” молодежные стили никогда не совпадали так гармонично, как это заявляли некоторые теории субкультур, – цитирует он радикальную постмодернистскую позицию С. Рэдхеда и продолжает. – С моей точки зрения, тем не менее, термин “субкультура” глубоко проблематичен еще и тем, что устанавливает жесткие разделительные линии форм социальности, которые могут быть фактически гораздо более подвижными и во многих случаях более произвольными, чем позволяет концепт субкультуры с его коннотациями согласованности и солидарности»¹³.

Концепт постсубкультуры утвердился в 2000-е годы, хотя сам термин впервые появился в конце 1980-х и получил более широкое употребление в конце 1990-х гг.¹⁴. Его появление отражает как социокультурные сдвиги, так и изменения теоретического языка. Центральной идеей (пост)субкультурных исследований становится представление о меняющемся характере социальности. Речь идет о том, что З. Бауман называет «текучей» современностью. Для формирования нового дискурса о субкультуре, в частности, огромное значение имели формулировки М. Маффесоли о новом типе связи, основанной на эмоциональной потребности: смыслом социальности становятся не инструментальные аспекты, а чувство переживания общности. Маффесоли называет этот эффект «божественным социальным»¹⁵. Маффесоли, говоря о субкультурах, обращается к термину «неоплемена», чтобы метафорически подчеркнуть внерациональный, надындивидуальный характер новых групп. При этом вопрос о месте индивидуальности в процессе функционирования (пост)субкультур является одним из наиболее острых. С одной стороны, вводя дискурс «племени», автор подчеркивает идею деиндивидуализации. Действительно, в племенном сознании человек выступает прежде всего как представитель группы, а не выделенный из нее индивид. В сочетании с аффективностью внутриплеменных связей эта растворенность индивида в группе предполагает «общинную» социальность вместо «общественной». С другой стороны, современные субкультуры, с точки зрения Маффесоли, лишены закрытости, структурированности и ритуализированности «традиционных» племен. Они, напротив,

выстраиваются вокруг индивида, являются результатом его выбора, не остаются неизменными, а обладают временным, «текущим» характером. Не субкультура порождает особую социальность – наоборот, социальность, понимаемая как эмоциональная, магическая связь, порождает неоплемена. В этом смысле источником субкультурной идентичности становится индивид, принимающий как «свои» символы и атмосферу группы.

Эта несколько противоречивая идея высвечивается в оппозиции с понятием «конца социального» Ж. Бодрийяра, который видит в массовизации смерть «общества»¹⁶. У Маффесоли деиндивидуализация и массовизация парадоксально возрождают не общество, но «социальное» – в подвижной и эмоциональной форме¹⁷.

Субкультура, таким образом, перестает казаться чем-то устойчивым, определенным и закрытым. Представление о субкультуре усложняется. Гендерный подход (А. Макробби) ставит вопрос о распределении гендерных ролей в «традиционных» субкультурах и о существовании альтернативных «девичьих» субкультур, осваивающих частное пространство дома и спальни¹⁸. Вообще внимание к соотношению «видимой» уличной жизни и повседневного существования молодежи в условиях дома, семьи, работы ставит под вопрос автономность субкультурной действительности, то есть проблематизирует границы субкультуры.

Важное следствие применения новой парадигмы – уход от признания содержательного наполнения субкультуры. Субкультура перестает быть не только «героической», но и сколько-нибудь ориентированной на цели и смыслы. Ключевым понятием в изучении постсубкультур становится не «ценности», «нормы» или «цели», а понятие «жизненного стиля» (lifestyle). В массовом обществе, ориентированном на потребление¹⁹, опорой социальности становятся стили потребления²⁰. При этом особенностью современной массовой культуры является высокая степень ее дифференцированности, которая затрудняет ее восприятие как унифицированной и доминирующей. Массовая культура предлагает широкий спектр стилей, свободный выбор и смена которых становится основой фрагментарной и подвижной идентичности. В качестве примера, способной стать метафорой, можно привести описание респондентами Э. Беннета клуба, в котором на каждом этаже предлагается различная музыка – от кафе с джазом и хип-хопом в качестве музыкального сопровождения до мелодичного техно этажом ниже и таких разновидностей техно, как хаус и транс, на нижнем этаже; молодежь свободно перемещается между всеми тремя этажами, выбирая ту или иную разновидность музыки и участвуя во всем происходящем²¹.

Если Э. Беннет иллюстрирует новую тенденцию на примере музыкальной сцены (попутно проблематизируя заявленную Д. Хебдиджем «гомологию» музыкального в визуального в субкультуре), то Магглтон в одной из работ делает акцент на выборе внешнего (визуального) выражения стиля. Обращаясь к современной моде как потоку множественных и быстро преходящих образов, он суммирует: «Когда-то молодежные субкультуры иронично трансформировали наиболее наглядные, уникальные и яркие черты послевоенного, “конвенционального” стиля, но в результате их ответ утратил всю остроту благодаря стилистическому и идеологическому включению в мейнстрим. Однако по мере движения от тезиса к антитезису и синтезу теряется различие между мейнстримом и субкультурой, все чрезмерное, становясь обыденным, уже не шокирует; стилистическая гетерогенность доводится до своего предела, и видимость протеста становится просто другой разновидностью моды»²². Магглтон, впрочем, идет дальше, высказывая предположение, что «аутентичных» субкультур, которым удалось избежать соприкосновения с миром мейнстрима (медийными, коммерческими, предпринимательскими структурами), никогда и не было и что действительная идентичность участников «классических» субкультур представляла собой более сложную и гибкую конструкцию, чем это обычно предполагается.

В противоположность идеям Бирмингемской школы в рассмотренной парадигме проблема классового неравенства и доминирования несущественна. Понятие «жизненного стиля» позволяет преодолеть «привязку» к классу. Как пишет Э. Беннет, «полагая экспериментирование центральной характеристикой идентичности позднего модерна, концепт жизненного стиля допускает на самом деле, что индивиды будут также часто выбирать жизненные стили, которые никаким образом не указывают на специфическую классовую подоплеку»²³.

Новому подходу к субкультурам в большей степени отвечает социология вкуса, отсылающая к теоретическим построениям Пьера Бурдьё. Именно на этого автора ссылается видный исследователь субкультур Сара Торнтон, вводя понятие «субкультурного капитала». Как и «культурный капитал» в концепции Бурдьё, хотя и не столь легко, субкультурный капитал может быть конвертирован в экономический: «Диджеи, организаторы клубов, дизайнеры одежды, журналисты в области музыки и стиля и многочисленные профессионалы звукозаписывающей индустрии зарабатывают себе на жизнь с помощью субкультурного капитала»²⁴.

С. Торнтон подчеркивает, что в отличие от тесной связи культурного капитала с классовыми границами субкультурные

различия, напротив, размывают понятие класса. Тем не менее они утверждают собственные границы между «хиповым» и «мейнстримным» (в терминологии Е. Омельченко, разработанной применительно к российской субкультурной сцене, – «продвинутым» и «нормальным» соответственно²⁵). В некотором смысле эта концепция возвращает нас к социологии структурного функционализма: субкультурный капитал используется молодыми для утверждения себя в мире, где у них нет ресурса для «реального» самоутверждения. С. Торнтон замечает, что, несмотря на выражение приниженной позиции в словах *subculture* или *underground*, члены субкультуры в собственном представлении *возвышаются* над мейнстримом: в этом исследователь видит реинтерпретацию социальных отношений в символическом плане.

Вопрос о политическом потенциале субкультур кажется в этом контексте неактуальным: если субкультура – не выражение социальной солидарности, а практика индивидуального выбора стиля, то о выражении некоторого политического интереса (пусть и латентного, как в концепции Бирмингемской школы) речи не идет. Тем не менее этот потенциал некоторые исследователи усматривают в современных молодежных движениях, общая платформа которых едина – это противостояние глобальному капитализму²⁶. Наблюдаются пересечения движений и субкультур, они могут дополнять друг друга, вытекать друг из друга, субкультура может быть результатом или источником социального движения (например, феминизм третьей волны и субкультура Riot Grrrlz²⁷). Общим для субкультур и социальных движений является их отрыв от относительно определенной категории «класса» в пользу временных образований, направленных на достижение конкретной цели (движения) или выражения единства жизненного стиля в данный конкретный момент (постсубкультуры). Эта новая, текучая и внезапно кристаллизующаяся социальность поддерживается новыми технологиями, стимулирующими создание «умных толп» (Г. Рейнгольд)²⁸.

Заключение

Изменения в языке субкультурных исследований могут быть описаны, разумеется, не единственным образом. В нашей статье мы придерживались двух основных «направляющих»: концепции перехода от модерна к постмодерну и анализу представлений о социальной структуре в связи с символическим порядком.

Идеи структурного функционализма – последней «большой теории» в социологии XX века – кажутся предельно адекватными общим установкам эпохи модерна. В них, с опорой на идеи Просвещения, ход истории трактуется как прогресс, культура – как предельное раскрытие человеческой природы в лучших образцах творчества, социум – как свободная ассоциация разумных индивидов, объединенных общими целями, национальное государство – как форма осуществления власти народа. Культура организована иерархически (более и менее значимые области; противопоставление «высокой» и «низкой» культуры), логически упорядочено, нормативно (эталонные образцы – «классика»; эстетические идеалы; «воспитательная функция»). В период второй половины XIX – первой половины XX века складывается идея единой для всех – национальной по содержанию, массовой по форме – культуры. Сословные внутрикультурные границы стираются, нормы и ценности одного из сословий – буржуазии – принимают вид универсальных. Однако в действительности культура не является гомогенной, внутри нее находятся группы, в силу разных причин придерживающиеся иных правил и практик. Потребность в их описании и анализе порождает специфический язык описания, в котором существует «ядро», образуемое социетальной общностью, и периферия, складывающаяся из «маргинальных» и «девиантных» групп. «Норма» и «отклонения» от нее – модель культуры, в полной мере соответствующая установкам модерна.

Контркультуры как разновидность субкультур в этом контексте выполняют роль конкурирующих культурных программ. Однако они тоже порождают «тотальное» мировоззрение и пытаются (наподобие авангардного искусства XX века) заменить доминирующие ценности и нормы собственными – лучшими, более прогрессивными, менее технократическими (яркий пример – хиппи).

Язык, выработанный исследователями Бирмингемского центра современных культурных исследований, интерпретирует субкультуры сходным образом, делая акцент на классовом характере субкультурного сопротивления. Гегемония доминирующей культуры оспаривается, как считают представители школы культурных исследований, в символическом плане за счет стиля, поведения, потребительских предпочтений. Данный подход можно считать переходным, как можно считать переходной и саму послевоенную эпоху. «Героическая» интерпретация субкультур видит в них силу, оппонирующую как родительской культуре рабочего класса, утрачивающей свою идентичность, так и культуре буржуазного мейнстрима. Однако понятие стиля, столь значимое для этой традиции,

принадлежит одновременно и другому языку – языку потребительской активности, потребительского выбора. Субкультуры не «спасают» от вовлечения в массовую культуру, которой они пытаются противостоять, даже DIY-идеология: массовая индустрия подхватывает выработанные внутри субкультур тенденции, имена, продукты и присваивает их²⁹.

Для приверженцев постсубкультурной теории значимы идеи П. Бурдьё: позиция индивида в социальном пространстве определяется французским социологом через множественные параметры (различные виды капитала и деление пространства на относительно автономные «поля») и тем самым лишается жесткой определенности и устойчивости. Скорее такой набор «классовых» параметров, выражающийся в понятии «габитус», вариативен, индивидуален, в силу чего невозможно очертить границы «класса» как «вещи». Именно поэтому субкультурная принадлежность может быть не целостной характеристикой индивида, а «частичной» – еще одной формой капитала, влияющей на социальную позицию, но не определяющей ее.

Еще одна важная сторона постмодерна – возросшая роль потребления, которое оказывается буквально центром социальной жизни. В постсубкультурных исследованиях именно потребительский выбор рассматривается как основа субкультурной идентичности. Важным является именно «выбор», поскольку он подчеркивает примат индивидуального начала над групповым, субкультуры – не «вещи», а формы социального взаимодействия. В целом такая позиция представляется версией социального конструкционизма: именно своим постоянным выбором и воспроизведением субкультурных практик индивиды формируют субкультуры. Современные исследователи ретроспективно проблематизируют и «содержательные» субкультуры прошлого: критике подвергаются идеи гомогенности и единства субкультур. В то же время, на наш взгляд, не следует отказывать субкультурам модерна в хотя бы относительном смысловом единстве: оно оправдано (относительной) монолитностью доминирующей культуры, по отношению к которой группы должны самоопределяться. Чем жестче заявлены «ядерные» ценности, тем радикальнее должен быть бунт против них. Ситуация постмодерна принципиально иная: распад культурных иерархий лишает тот или иной субкультурный выбор характера оппозиционности. Многочисленные стили сосуществуют на равных; элементы различных по характеру стилей перемешиваются и комбинируются. Понятие субкультуры все чаще относится не к целостному образу жизни и мировоззрению, а к досуговым практикам (офисный клерк – байкер в часы досуга), «клубам по интересам» (футбольные

фанаты), виртуальным сообществам (геймеры). Субкультурная идентичность не заменяет, а лишь дополняет вполне включенное в мейнстрим социальное существование. В деиерархизированном, мозаичном культурном пространстве нет нужды вырабатывать новые смыслы, достаточно осуществить выбор из предложенных вариантов. Иногда этот выбор трактуется исследователями как гедонистический, но не следует забывать, что субкультура – это всегда форма социальности. Эвристический потенциал (пост) субкультурных исследований состоит как раз в том, что рефлексия понятия «субкультура» позволяет отследить новые формы социокультурного взаимодействия, новые социокультурные практики и, в конечном счете, меняющиеся значения социального.

Примечания

- ¹ Самые существенные перемены – разрушение сложившихся культурных иерархий. В знании – отказ от «больших повествований» (Лиотар), в социальной структуре – «восстание меньшинств» (Л.Г. Ионин), релятивизация моральных и эстетических ценностей. Эти перемены оказали существенное влияние на трансформацию содержания субкультур, как будет показано далее.
- ² *Щепанская Т.Б.* Система: тексты и традиции субкультуры. М., 2004.
- ³ *Омельченко Е.Л.* Молодежные культуры и субкультуры. М., 2000.
- ⁴ *Левикова С.И.* Молодежная субкультура: Учеб. пособие. М., 2004; *Луков В.А.* Особенности молодежных субкультур в России // Социологические исследования. 2002. № 10. С. 79–87; Молодежные субкультуры Москвы / Сост. Д.В. Громов, отв. ред. М.Ю. Мартынова. М., 2009.
- ⁵ *Gelder K.* Subcultures: cultural histories and social practice. L.; N. Y.: Routledge, 2005.
- ⁶ *Ibid.* P. 3–4.
- ⁷ *Парсонс Т.* Система современных обществ. М., 1997. С. 25.
- ⁸ *Десмонд Д., МакДонах П., О'Донохоу С.* Контркультура и потребительское общество // Массовая культура: современные западные исследования. М.: Фонд научных исследований «Прагматика культуры», 2005. С. 267–307.
- ⁹ *Мертон Р.* Социальная структура и аномия // Социология преступности (Современные буржуазные теории). М., 1966. С. 307–308.
- ¹⁰ О политической программе британских культурных исследований см.: *Курентой В.* Исследовательская и политическая программа культурных исследований // Логос. 2012. № 1 (85). С. 14–79, в том числе о субкультурных исследованиях этой школы – с. 58–68.
- ¹¹ *Resistance through Rituals / Ed. by S. Hall, T. Jefferson.* 2nd ed. L.; N. Y.: Routledge, 1993. P. 15.

- ¹² Ключевая работа по этой проблеме: *Hebdige D.* Subculture: The Meaning of Style. L.; N. Y.: Routledge, 1988.
- ¹³ *Bennett A.* Subcultures or neo-tribes? Rethinking the relationship between youth, style and musical taste // *Sociology*. 1999. Vol. 33. № 3. P. 599–617.
- ¹⁴ *Ibid.*
- ¹⁵ *Маффесоли М.* Околдованность мира, или Божественное социальное // Социологос. Вып. 1. М.: Прогресс, 1991. С. 274–283.
- ¹⁶ «...масса есть то, что остается, когда социальное забыто окончательно» (*Бодрийяр Ж.* В тени молчаливого большинства, или Конец социального. Екатеринбург, 2000. С. 11). Также существенно противопоставление массы более определенным (хотя также в той или иной степени иллюзорным), с точки зрения Бодрийяра, концептам «класса» или «народа».
- ¹⁷ *Weinzierl R., Muggleton D.* What is “Post-subcultural studies” anyway? // *The Post-subcultures reader* / Ed. by R. Weinzierl, D. Muggleton. Oxford: Berg, 2003. P. 9.
- ¹⁸ *Макроби А.* Феминизм и молодежная культура: от журнала «Джеки» до «Уж 17» // Омельченко Е.Л. Указ. соч. С. 189–204.
- ¹⁹ Потребление, по Бодрийяру, заменяет производство в качестве ключевого процесса, организующего социальность (*Бодрийяр Ж.* Символический обмен и смерть. М., 2009).
- ²⁰ В 2000-х годах в результате формируется понятие «brand tribes» – племена вокруг брендов. Сходная идея, однако, высказывалась и ранее (см., например: *Бурстин Д.* Сообщества потребления // *THESIS*. 1993. № 3. С. 231–255).
- ²¹ *Bennett A.* Op. cit. P. 611–612.
- ²² *Магглтон Д.* Пост-субкультуралист // «Культурка». Сайт Веры Зверевой [Электронный ресурс]. URL: http://culturka.narod.ru/Postsubcult.htm#_ftn1 (дата обращения: 28.09.2015).
- ²³ *Bennett A.* Op. cit. P. 607.
- ²⁴ *Thornton S.* Club cultures: Music Media and Subcultural Capital; цит. по: *The sub-culture reader* / Ed. by K. Gelder. 2nd ed. N. Y.: Routledge, 2005. P. 187.
- ²⁵ *Омельченко Е.Л.* Субкультуры и культурные стратегии на молодежной сцене конца XX века: кто кого? // *Неприкосновенный запас*. 2004. № 4 (36).
- ²⁶ *Weinzierl R., Muggleton D.* Op. cit. P. 13–16.
- ²⁷ *Soccio L.* From Girl to Woman to Grrrl: (Sub)Cultural Intervention and Political Activism in the Time of Post-Feminism // University of Rochester [Электронный ресурс]. URL: http://www.rochester.edu/in_visible_culture/issue2/soccio.htm (дата обращения: 28.09.2015).
- ²⁸ *Рейнгольд Г.* Умная толпа: новая социальная революция. М., 2006. С. 225–257.
- ²⁹ Сложно удержаться от цитаты из «Поколения П» В. Пелевина: «В области радикальной молодежной культуры ничто не продается так хорошо, как грамотно расфасованный и политически корректный бунт против мира, где царит политкорректность и все расфасовано для продажи».

С.Г. Давыдов, О.С. Логунова

ПОТРЕБЛЕНИЕ СЕРВИСОВ МОБИЛЬНОЙ ТЕЛЕФОНИИ В РОССИЙСКОМ ЮЖНОМ СЕЛЕ

Статья посвящена анализу особенностей потребления различных сервисов мобильной телефонии на примере российского поселка Коксовый Ростовской области. Рассматриваются изменения и различия городского и сельского стилей общения посредством новых технологий. Представлены данные эмпирического исследования, проведенного в сельских населенных пунктах Ростовской области, на основании которого составлена типология потребителей.

Ключевые слова: новые медиа, межличностная коммуникация, мобильная телефония, глубинные интервью.

Среди средств коммуникации, получивших массовое распространение в последние два десятилетия, наибольший охват населения в России к настоящему моменту имеет мобильная телефония. По данным различных исследовательских организаций, мобильной связью пользуются более 90% россиян. (Для сравнения: доля пользователей Интернета в возрасте от 18 лет и старше за месяц составляет 55%¹. Согласно публикациям Росстата, на 1000 взрос-

© Давыдов С.Г., Логунова О.С., 2016

Статья подготовлена в рамках проекта Центра фундаментальных исследований Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» «Трансформация российского телесмотрения в условиях появления новых медиаплатформ» (направление «Роль культуры в модернизации российского общества и экономики» Тематического плана научно-исследовательских работ (фундаментальных научных исследований и прикладных исследований), предусмотренных Государственным заданием Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» на 2013 год).

лых человек в 2011 году в стране приходилось 1790,3 подвижных абонентских устройств подвижной радиотелефонной (сотовой) связи. В сельской местности не имеют телефонной связи только 16,3% малонаселенных пунктов².

Данные пятой волны мониторинга «Оценка текущего состояния и перспектив изменения уровня медиаграмотности населения Российской Федерации на основе национального мониторинга медиаповедения и актуальные задачи массового медиаобразования» (всероссийская выборка, $n = 1600$), проведенного в ноябре–декабре 2013 года исследовательской группой ЦИРКОН, подтверждают тенденцию ежегодного роста наличия мобильного телефона, с 2009 по 2013 г. этот показатель вырос с 85 до 93%. Абсолютное большинство опрошенных – 95% – используют мобильный телефон каждый или почти каждый день. Наблюдается тенденция увеличения аудитории как новых медиа (компьютер, Интернет), так и традиционных (газеты, журналы).

Особенности коммуникаций в сельских населенных пунктах неоднократно становились предметом внимания исследователей³. Так, различные авторы указывают на то, что коммуникативное пространство малых населенных пунктов, как правило, более закрытое, что является следствием социальной замкнутости и цикличности сельского образа жизни. Городская среда отличается большей открытостью социального пространства, провоцирует возникновение большего количества контактов, однако часто не поддерживает сохранение глубоких связей. Основные особенности сельской культуры заключаются во внутренней сплоченности сельской общности, влечении родственных и соседских отношений в ткань производственных, управленческих, товарищеских и иных социальных связей, доминировании доверительных личных отношений и преобладании коллективной ответственности за поступки. Таким образом, сельский образ жизни характеризуется более высокой степенью коллективизма, и в соответствии с этим приводит к необходимости постоянно поддерживать частые и интенсивные коммуникации⁴.

Настоящая статья основана на результатах эмпирического исследования кейса потребления сервисов мобильной телефонии в сельском населенном пункте Коксовый Белокалитвинского района Ростовской области. Исследовательский проект был реализован объединенной группой преподавателей и студентов Национального исследовательского университета Высшая школа экономики (НИУ ВШЭ) и Донского государственного технического университета (ДГТУ). Использовались такие методы исследования, как

глубинные интервью, наблюдение и анкетирование; для участия рекрутировались сельские пользователи новых медиа (мобильная телефония, цифровое телевидение и/или Интернет) в возрасте от 14 лет и старше. Сбор информации осуществлялся в течение 6 дней: с 25 по 30 июня 2013 г. Всего было проведено 64 интервью в 58 домашних хозяйствах. Половозрастной состав респондентов отражен в табл. 1. Возрастные группы распределились довольно равномерно, существенного перевеса той или иной категории не выявлено.

Интервью проводились по двум различным гайдам, в которые был включен общий блок, посвященный мобильной телефонии. По первому гайду, посвященному многоканальному телевидению и ценностям респондентов, было взято 34 интервью. Второй гайд был посвящен потреблению Интернета, по нему было получено 30 интервью.

Таблица 1

Распределение респондентов по полу и возрасту (n = 64)

Возраст	Мужчины	Женщины	Всего
14–34	10	14	24
35–54	8	10	18
55+	6	16	22
Всего	24	40	64

Среди опрошенных 35 человек не работают, 23 работают полную рабочую неделю, а 6 работают на условиях частичной или сезонной занятости. Большинство респондентов (40) женаты или замужем. Средний размер домашнего хозяйства по выборке – 3,4 человека (включая членов семьи, проживающих в селе непостоянно, но в общей сложности более 2 месяцев в году).

Место проведения интервью – поселок Коксовый с численностью населения 8040 жителей (данные Росстата на 1 января 2013 г.)⁵, до 2004 г. имевшее статус поселка городского типа. Ближайший город – Белая Калитва – находится в 15 км, до областного центра – Ростова-на-Дону – 160 км. Подчеркнем, что многие жители поселка Коксовый заняты на производстве, в связи с чем частное хозяйство не рассматривается ими в качестве основного источника средств к существованию.

Обратим внимание, что сотовая телефония есть во всех домашних хозяйствах исследования, хотя ее наличие не было обязательным условием при отборе респондентов. Весьма распространены в среде опрошенных и такие медиаустройства, как DVD-проигрыватель, а также домашний компьютер, подключенный к Интернету. Стационарный телефон установлен в 20 из 58 домашних хозяйств.

Таблица 2

Наличие исправной медиатехники
в домашних хозяйствах исследования (n = 58)

Медиатехника	Число домохозяйств
Сотовый телефон, смартфон, КПК	58
DVD, Blue Ray проигрыватель	50
Подключение к Интернету (компьютер)	42
Музыкальный центр	33
Стационарный компьютер	32
Мобильный компьютер (ноутбук, лэптоп)	29
Радиоприемник (эфирный)	29
Подключение к Интернету (смартфон)	22
Видеомагнитофон	21
Стационарный телефон	20
MP3-проигрыватель, iPod	12
Радиоприемник (проводной, радиоточка)	11
Планшетное устройство (типа iPad)	7
Электронная книга	5
Проигрыватель виниловых дисков	4

Блок гайда глубинных интервью, посвященный мобильной телефонии, состоял из трех частей. Первая часть была посвящена общей информации о мобильном телефоне и его использовании респондентом. Во второй части обсуждались вопросы, связанные с использованием мобильного телефона как средства голосовой связи. В третьей части рассматривались различные функции мобильной телефонии. Рассмотрим более подробно основные результаты, полученные в ходе исследования, по каждому из трех направлений.

Общая характеристика использования мобильного телефона

В подавляющем большинстве случаев мобильные телефоны находятся в индивидуальном пользовании у членов домохозяйств исследуемого поселка, включая детей. Исключение составляют пары пенсионеров, которые пользуются одним аппаратом на двоих, преимущественно для связи с детьми, проживающими в других населенных пунктах. В целом мобильный телефон является в большей степени персонифицированным, личным каналом связи, чем домашний компьютер, а в некоторых случаях – адрес электронной почты, который заводится для совместного использования несколькими членами семьи.

Приобретение телефонного аппарата, как правило, является знаковым событием. Мобильный телефон представляется респондентам желанным подарком, уместным на день рождения, юбилей или годовщину свадьбы и другие памятные даты. *«У нас годовщина семейной жизни была, и племянница нам преподнесла телефон в подарок»* (женщина 59 лет, пенсионер). Многие с гордостью подчеркивают длительность использования этого средства связи, рассказывая об их первых уже устаревших моделях мобильного телефона, отличавшихся большими размерами.

Смена аппарата в основном происходит по причине поломки или потери, ключевой критерий выбора – качественное обеспечение голосовой связи.

Бывшие в употреблении мобильные телефоны не выбрасывают, а отдают «по наследству» другим членам домашнего хозяйства; в некоторых случаях деревенские родственники «донашивают» за городскими. Аппараты часто переходят от взрослых детей пожилым родителям или, наоборот, детям от матери или отца.

В данном контексте представляется весьма характерным высказывание респондента: *«Этот телефон, это ей в этом году купили на день рождения, а вперед ее телефон был сенсорный, он там что-то, крышка стала отламываться, в общем, его очень много били. Он стал плохо работать. И она его отдала деду, вернее, не деду, я его забирала, я ходила с ним, с тем телефоном, но там, правда, крышка не держится, он сейчас лежит у деда. Поэтому у нас телефоны меняются»* (женщина 30 лет, индивидуальный предприниматель).

История появления мобильного телефона в семье часто связана с потребностью оставаться на связи с детьми, которые уезжают в город учиться, уходят в армию или переезжают в другие населен-

ные пункты. Хотя респонденты сравнительно активно коммуницируют по «мобильнику» с другими жителями сельского поселения, общение с соседями редко называется в качестве причины появления устройства. Социально активной части населения мобильный телефон часто бывает необходим по работе.

Из общего числа опрошенных 24 считают свой телефон обычным, а 10 – смартфоном, остальные определить тип телефона затруднились. При этом респонденты понятием «смартфон» оперируют весьма редко; данное слово в большинстве случаев либо было введено в контекст диалога интервьюером, либо вообще не было использовано во время беседы, однако перечисленные респондентом характеристики устройства позволяют идентифицировать последнее в этом качестве. Наиболее популярные марки телефонов – Samsung и Nokia. Суммарная доля принадлежащих им упоминаний составляет около 90%, причем встречаются они с примерно одинаковой частотой. Заметим, что в ходе исследования не было зафиксировано ни одного смартфона популярной среди российских горожан марки iPhone.

Несмотря на то, что в поселке доступны мобильные услуги четырех крупных операторов связи, одному из них – МТС – респонденты отдают явное предпочтение. Выбор оператора чаще обусловлен тем, что его услугами пользуются большинство родных и знакомых; как правило, он не меняется с приобретением нового телефона. Свой тарифный план опрошенные смогли назвать примерно в половине случаев. Зафиксировано несколько случаев отказа от стационарного телефона в пользу мобильного в целях экономии.

Даже если у респондента есть несколько SIM-карт разных операторов, он обычно подчеркивает, что преимущественно использует именно МТС. Реже респонденты пользуются услугами Билайна, Мегафона и Теле-2; в основном это вторая SIM-карта, необходимая для звонков родным в другие города. Вообще говоря, практика приобретения SIM-карт разных операторов в целях сокращения расходов на мобильную связь достаточно популярна. Вот как описывают практику использования SIM-карт один из опрошенных: *«У нас (смеется) на каждую связь есть отдельный телефон. То есть телефоны с “теледвушкой” (ТЕЛЕ-2), есть и с МТС, и Билайн и Мегафон. Вот, в Кисловодск позвонить, у нас “мегафоновский” есть, там они Мегафон. “Билайновский” – девчата у меня на Билайне».* (женщина 44 года, продавец).

В целом, результаты исследования свидетельствуют о том, что мобильная связь давно и прочно вошла в обыденную жизнь

жителей Коксового. Они пользуются ею в среднем на протяжении десяти лет, демонстрируя высокий уровень лояльности как к оператору, так и к марке телефона.

Мобильный телефон как средство голосовой связи

Функция голосовой коммуникации является для респондентов приоритетной. В большей части случаев они используют свои коммуникативные устройства преимущественно для того, чтобы звонить и принимать звонки, нередко пренебрегая остальными функциональными возможностями. Среди тех, кто использует мобильные телефоны только для разговоров, основную долю составляют жители поселка в возрасте 50 лет и старше. Впрочем, в младшей и средней возрастных группах также наблюдается тенденция минимизации и упрощения взаимодействия с мобильными телефонами. Приведем типичные примеры ответов на вопрос: «Какие функции телефона вы используете чаще?» респондентов разного возраста. «*Я вообще там не лазаю. Даже не знаю. Кроме звонков*» (женщина 62 года, пенсионер). «Мне нужно только, только разговоры» (мужчина 32 года, сотрудник ОВД). «*Чтобы звонить. Собственно, и все*» (мужчина 16 лет, школьник).

У многих участников исследования отсутствует стационарный телефон, что соответствует ситуации в сельских поселениях России в целом. Поэтому мобильное устройство становится основным средством удаленной межличностной коммуникации. В ходе исследования зафиксированы случаи отказа от услуг стационарной связи в связи с их избыточностью и значительной стоимостью. («*Нет, мы отключили его [стационарный телефон], отказались, дорого*» (женщина 52 года, ИП).)

Как правило, число входящих и исходящих вызовов у респондентов примерно одинаковое, тогда как активность пользования телефонией различная. К группе активных пользователей услугами мобильной связи в основном относятся работающие участники исследования. Сюда же входят женщины-домохозяйки, регулярно общающиеся с детьми и подругами, а также поддерживающие контакты с многочисленными родственниками. Они делают в день исходящих звонков минимум один-два часа и принимают столько же входящих. Ко второй группе относятся пенсионеры, использующие телефон в основном для связи с детьми и решения бытовых вопросов (например, заказ газа), а также молодые люди, ограничен-

ные в средствах и предпочитающие общение в социальных сетях через стационарный компьютер.

Следует отметить, что для сельских жителей характерна более высокая степень коллективизма и четкая выраженность родственных связей между людьми. Повседневная жизнь в российском селе исторически была построена на постоянном взаимодействии с родственниками. Таким образом, технология мобильной телефонии в данном случае конструирует органичное продолжение коммуникативного потока, часто формирующего быт рассматриваемой социальной группы. Анализ глубинных интервью показывает, что целевые группы коммуникации у большинства участников исследования классические: дети, коллеги и клиенты на работе, друзья и родственники. Однако высокая степень коммуникативной активности по мобильному телефону в данном случае редко объясняется большим количеством деловых и личных контактов. Отдельно следует отметить высокую степень распространенности звонков в другие населенные пункты, которая формируется за счет стремления поддерживать традиционные тесные связи с родственниками (чаще всего детьми и внуками), не проживающими в одном населенном пункте с опрошенными.

Респонденты, нечасто разговаривающие по мобильному телефону, утверждают, что у них нет соответствующей необходимости, ссылаются на высокую стоимость звонков и отсутствие желания коммуницировать часто и подолгу. *«Я немного звоню, мне немного – по работе, по знакомым, – не так, чтобы. Много номеров таких, нужных [130 контактов в телефонной книге]. Каждый день общаться – это дорого. В основном, с близкими»* (женщина 55 лет, работник буровой промышленности). Чаще всего регулярные коммуникации распространяются на достаточно ограниченный круг лиц; исключения составляют случаи, когда респондентам приходится делать много звонков по работе.

Анализ количества контактов в телефонных книжках позволяет зафиксировать, что у некоторых жителей Коксового электронный список телефонов достаточно большой: *«Да (примерно 250 контактов), нужные номера стараюсь сохранять»* (женщина 44 года, продавец). *«Контакты да, конечно записываю. Где-то 160. Все. Ну они у меня по группам разделены: работа, родственники, знакомые, друзья... Есть, в записной книжке есть»* (женщина 52 года, ИП). Другая группа респондентов обладает совсем небольшим количеством контактов. При этом разрыв с предыдущей группой респондентов достаточно весомый: *«Ну, штук 15, наверное. То кума, то все свои»* (женщина 62 года, пенсионер). *«Я большую часть номеров*

наизусть знаю. Не знаю, примерно, 16 номеров [телефонная книжка]» (женщина 16 лет, школьница).

Подобный разрыв может быть результатом противоречивых процессов, происходящих сегодня в российской сельской местности. Небольшое количество телефонных контактов демонстрирует замкнутость на привычных жизненных циклах, социальную закрытость и коммуникативные традиции с небольшим, но тесным кругом людей. Большое количество контактов может являться следствием постепенного проникновения на село городского образа жизни.

Звонки по мобильному телефону рассматриваются большим количеством респондентов как более удобная форма коммуникации, приближенная к естественной, однако технологически опосредованная. Сравнивая звонки с функцией SMS, опрошенные говорят о ненужности или бесполезности последней. В условиях исследуемого сообщества такие элементы мобильной культуры, рассматриваемые различными авторами, как текстинг, активный обмен мультимедийной информацией и др.⁶, способные привести к снижению доли голосового обмена в общем объеме мобильного трафика, выражены крайне слабо.

Итак, голосовая связь остается для жителей исследуемого населенного пункта ключевым направлением использования мобильной телефонии. В то же время используемые респондентами гаджеты обладают достаточно широким функционалом, причем в условиях развития технологий и перманентного процесса замены устройств данный функционал продолжает расширяться. Рассмотрим, каким образом жители Коксового используют различные дополнительные возможности своих телефонов и смартфонов.

Использование дополнительных функций мобильных телефонов

Как мы уже отмечали, к имеющимся функциям мобильных телефонов респонденты обращаются неактивно и весьма ограниченно. Сервис SMS не пользуется спросом. Большинство опрошенных предпочитают разговор набору текста; около половины респондентов не умеют использовать данную функцию. К отправлению SMS прибегают в особых случаях, например для передачи точной информации (паспортные данные и др.), в праздничные дни для обмена стихотворными поздравлениями и т. п. Сообщения MMS востребованы крайне малочисленной группой. В ос-

новном речь идет о пересылке фотографий, документирующих достижения в огороде или цветнике, а также портретов детей и других членов семьи.

Мелодия для звонка выбирается в большинстве случаев из числа имеющихся в аппарате, одна на все группы контактов, часто по принципу «чем громче, тем лучше». В качестве «обоев» выступают изображения детей, домашних любимцев, цветов, пейзажные фото; примерно в половине случаев используется картинка из стандартного набора.

Остальные функции мобильного телефона использует около четверти респондентов. Наиболее распространенные из них – будильник, калькулятор, календарь, заметки. Сравнительно часто бывает востребован фотоаппарат, на который пользователи фотографируют родственников, огород, предметы интерьера и значимые события: поездки к родственникам и друзьям, семейный отдых, праздники и т. д.

Неактивные потребители мобильных сервисов старшего возраста часто используют телефон только для звонков. Приведем достаточно характерную цитату из интервью: *«Вообще-то я в нем [мобильном телефоне] даже записывать ничего не могу. Я так. Только чтобы ответить. Дети смеялись: мы будем звонить – на зеленую кнопку нажмешь. Я: Ой, для меня это сложно. Они: девяностолетние пользуются. Да, я говорю: не хочу»* (женщина, 51 год, пенсионер). Представители данной группы часто не понимают, как пользоваться SMS и другими функциями, и утверждают, что у них нет в них потребности. Иногда такие люди имеют возможность доступа в Интернет со стационарного компьютера и соответственно коммуницируют с другими людьми посредством текстовых сообщений и картинок. Однако телефон для этой цели они не используют.

Активные пользователи голосовой коммуникации – преимущественно женщины среднего и старшего возраста. Они иногда отправляют и получают SMS, однако другие функции почти не задействуют. Самая популярная цель использования SMS – поздравление родных и близких. *«Да, пишем [смс]. Это в основном праздники и поздравления... Но... Редко, реже, чем звоню»* (женщина 30 лет, домохозяйка). Также иногда респонденты этой группы передают с помощью SMS информацию по работе.

Среди участников исследования также можно выделить небольшую группу продвинутых пользователей мобильной телефонии. Это респонденты разного возраста (от 22 до 63 лет), объединенные склонностью к городскому стилю жизни; помимо звонков и SMS

они пользуются фотокамерой в телефоне, могут отсылать MMS. Кроме того, они используют мобильный Интернет, что фактически определяет их более интенсивное и разнообразное обращение к функционалу своего мобильного устройства. Многие используют его для общения в социальных сетях, потребления специализированной информации, часто в связи с профессиональной деятельностью. SMS в данном случае становится лишь одним из множества доступных способов вступления в переписку. С одной стороны, это способно привести к отказу от данной функции, а с другой стороны, расширяет сферу письменной коммуникации. В результате письменное общение по мобильному телефону может превратиться из специфического в обыденное.

Для всех перечисленных групп пользователей характерно отсутствие спроса на платные мобильные сервисы. Платные рассылки (гороскоп, прогноз погоды и т. д.) не востребованы со стороны респондентов, дополнительные программы на мобильный телефон устанавливаются крайне редко.

Заключение

Результаты проведенного исследования свидетельствуют о том, что мобильная телефония прочно вошла в быт жителей крупного южного села. Мобильный телефон преимущественно является предметом индивидуального пользования; наиболее востребованной, а в некоторых случаях и единственной используемой является функция голосового общения. Среди прочих направлений использования мобильных технологий – обмен SMS и MMS-сообщениями, а также публикация в социальных сетях фото и видео, сделанных на мобильные телефоны или смартфоны.

Стили потребления мобильных телефонов на селе различны. Некоторые участники исследования пользуются ими по минимуму, другие достаточно активны, однако ограничиваются исключительно возможностями голосовой связи. Отдельные потребители воспроизводят паттерны использования, характерные для горожан. Мобильная телефония используется для поддержания связи с родственниками, находящимися в других населенных пунктах, для профессиональной интеграции в городскую среду и т. д. Таким образом, коммуникативные возможности мобильной телефонии помогают жителям села адаптироваться к изменяющимся социальным условиям.

- ¹ Интернет в России: динамика проникновения. Весна 2013 // Фонд «Общественное мнение» [Электронный ресурс]. URL: <http://runet.fom.ru/Proniknovenie-interneta/10950> (дата обращения: 15.10.2015).
- ² Российский статистический ежегодник – 2012. 18.5. Основные показатели развития телефонной связи общего пользования и подвижной связи (на конец года) // Федеральная служба государственной статистики [Электронный ресурс]. URL: http://www.gks.ru/bgd/regl/b12_13/IssWWW.exe/Stg/d4/18-05.htm (дата обращения: 15.10.2015).
- ³ Антошкин В.Н. Социально-территориальные общности. Социология села. Уфа: БГПИ, 1993; Великий П.П., Елютина М.Э., Штейнберг И.Е., Бахрутина Л.В. Старики российской деревни. Саратов, 2000; Гольдин В.Е. Доминанты традиционной сельской культуры речевого общения // Аванесовский сборник. М., 2002; Никифоров Л.В., Кузнецова Т.Е. Город и село: особенности интеграции в советский и постсоветский периоды // Журнал исследований социальной политики. 2007. Т. 5. № 2. С. 179–200.
- ⁴ Великий П.П., Елютина М.Э., Штейнберг И.Е., Бахрутина Л.В. Указ. соч.; Гольдин В.Е. Указ. соч.; Никифоров Л.В., Кузнецова Т.Е. Указ. соч.
- ⁵ Численность населения Российской Федерации по муниципальным образованиям на 1 января 2013 г. // Федеральная служба государственной статистики [Электронный ресурс]. URL: http://www.gks.ru/free_doc/doc_2013/bul_dr/mun_obr2013.rar (дата обращения: 15.10.2015).
- ⁶ Рейнголд Г. Умная толпа: новая социальная революция. М., 2006; Crystal D. Txtng: The Gr8 Db8. Oxford: Oxford University Press, 2008; Groebel J., Noam E.M., Feldman V. Mobile Media: Content and Services for Wireless Communications. L.: Lawrence Erlbaum Associates, 2006.

В.Н. Мерзлякова

РЕПРЕЗЕНТАЦИЯ СТАТУСА ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЕЙ – ЯЗЫК, ОПЫТ, СТРАТЕГИИ

Статья посвящена вопросам имплицитного и эксплицитного определения категории статуса пользователями социальных сетей и описанию востребованных стратегий его визуальной и вербальной репрезентации.

Ключевые слова: социальный статус, социальные медиа, иерархии, стили жизни, микровезды.

В основу данной статьи легли материалы мониторинга ряда пользовательских страниц в социальной сети «ВКонтакте» – одной из самых многочисленных и популярных в России сегодня¹. Нас интересовал главным образом вопрос, какими стратегиями пользуются авторы, регистрирующие персональные страницы, чтобы представить свой статус, и что сегодня стоит за самим этим понятием. Представляется важным рассмотреть вопрос, насколько категория социального статуса важна самим пользователям, артикулируется ли она, каким образом она может быть выражена².

Вопросы изучения многообразия опытов репрезентации социального статуса весьма актуальны сегодня. Это обусловлено рядом причин, и прежде всего постоянно присутствующей потребностью членов любого сообщества выстраивать некие явные или подразумеваемые иерархические отношения внутри группы, позволяющие распознавать в партнере по коммуникации «своего» или «чужака», связывать с его положением и поведением определенные ожидания и прогнозы. Категория социального статуса, таким образом, является важной для изучения любого сообщества. Однако в обществах, где социальные статусные отношения не заданы жесткими критериями соответствия (такими, как, например, происхождение

ние), выражение социального статуса носит, как правило, имплицитный характер³, интуитивно понятный большинству членов сообщества. Благодаря сочетанию экономических, общественно-политических и культурных факторов наблюдается активное внимание к вопросам социального позиционирования не только в среде профессиональных исследователей общества, но и среди его непосредственных участников – людей, складывающих это общество. К постоянному интересу и будто бы самопроверке на соответствие неписаным критериям вхождения в «избранный круг» нас подталкивают различные медиа – развлекательные и life-style журналы, телерепортажи «из жизни звезд», снимки знаменитостей в таблоидах, предлагающих читателю подсмотреть за повседневной обстановкой кумиров, оценить уровень комфортности и яркости их повседневности, сопоставить с собственным жизненным опытом.

Тема изучения статусных взаимоотношений в обществе является достаточно востребованной. Различным аспектам изучения социального статуса посвящено немало исследовательских работ⁴. На российском материале, пожалуй, самой обстоятельной с точки зрения изучения лингвистического аспекта проявлений иерархических и статусных отношений стала монография Владимира Карасика «Язык социального статуса». Однако в силу объективных причин (работа опубликована в 2002 г., т. е. фактически до начала эпохи развития технологий веб 2.0) автор в своем исследовании фактически не касается практик интернет-общения, которые существенно трансформировали все аспекты репрезентации индивида сегодня. В ключе нашего исследовательского интереса хотелось бы отдельно сказать несколько слов об исследовании американского социолога Элис Мэрвик. В работе «Повышая статус»⁵ речь идет о трансформациях статусных отношений пользователей социальных медиа в Америке и странах западной Европы. Автор рассматривает стратегии самоописания пользователей социальных сетей (главным образом на материале сети «Твиттер»).

В качестве основного предмета данной статьи рассматривается категория *статуса* (как понятия, с которым пользователи осознанно работают, так и комплекса отношений и практик, определяющих репрезентацию образа жизни⁶, дохода, семейного положения и других характеристик, составляющих социальный статус, о которых еще пойдет речь далее). В ходе работы с материалом был проанализирован массив данных, публиковавшихся в открытом доступе в период 2013–2015 гг. В качестве основного источника послужили материалы, опубликованные в социальной сети «ВКонтакте». Ключевой целью данной работы было попытаться описать возможные

стратегии, которыми пользуются зарегистрированные в данной сети участники, позволяющие им охарактеризовать свое собственное положение или оценить положение/статус собеседника.

Следуя словарному определению, *статус* – это: 1. Сложившееся состояние, положение (книжн.). С. общественных отношений, жизни общества. 2. Правовое положение (спец.). Правовой с. гражданина. Посёлку присвоен с. города. *Статус-кво (книжн.) – сложившееся, существующее положение вещей. В статусе кого-чего, в знач. предлога с род. п. (книжн.) – то же, что в качестве кого-чего-н., в роли кого-чего-н.⁷

Итак, ключевым словом, определяющим понятие статуса, является существительное «положение», причем важно, что это положение не просто свойство самоощущения субъекта, но занимаемое в соответствии с некой системой норм и ценностей (как в примере с правовым статусом) или по отношению к другим членам сообщества. Всякий раз крайне важно учитывать, что статус определяется не сам по себе, а в соотношении с чем-то и кем-то.

Многие сообщества животных, и здесь человек как биологический вид не стал ни исключением, ни исключительным, выстраивают сложные внутригрупповые отношения, основанные на строгих иерархических позициях, предполагающих функциональное, ролевое и статусное разделение членов группы. Однако, если для животных объединений разделение определяется во многом естественными факторами (сила, старшинство и т. д.), то человеческие сообщества выработали значительно более сложную и разветвленную систему оценки и формирования статусных отношений. Какие-то аспекты статуса (т. е. соотносительного положения индивида в обществе) отражают достаточно объективные факторы занимаемой им позиции – например, брачно-семейный статус, и находят видимое легко считывающееся другими участниками группы подтверждение – например, определенного вида кольцо, надетое на определенный палец руки. Другие аспекты положения индивида не столь четко регламентированы, весьма условны и понимаются другими членами общества скорее интуитивно. Такие факторы могут иметь как яркое внешнее выражение – например, дорогой автомобиль, так и носить имплицитный характер или выражаться опосредованно, например, через приобщение к определенным текстам и ценностям. Статусные отношения в обществе, не имеющем четкого деления на кланы, сословия, выполняют функцию разделения и маркирования группы «своих», отделяя ее от «чужих», определяют положение субъекта в группе (или его самоощущение), часто очерчивают круг потенциальных возможностей, предполагаемых и

ожидаемых другими участниками группы ролевых моделей поведения от индивида.

Фактически, мы можем говорить о том, что вопрос определения социального статуса человека – это в первую очередь вопрос правильного распознавания культурных кодов (вербальных, визуальных), осознанно и неосознанно транслируемых индивидом или направленных на его восприятие. Многие из этих кодов формировались веками – например, коды традиционного костюма, позволяющего визуально репрезентировать такие важные характеристики, как возраст, семейное положение, наличие детей, принадлежность к тому или иному роду, профессии и т. д. Другие же, напротив, находятся в состоянии становления, и сюда мы в первую очередь можем отнести факторы, определяемые развитием новых информационных технологий, оказавших влияние на все сферы жизни современного общества и существенно трансформировавших практики повседневной репрезентации себя.

Коммуникативная революция, ознаменовавшая переход к эпохе веб 2.0 технологий⁸, существенно изменила ландшафт и российского сегмента интернета, коренным образом поменяв базовые стратегии поведения и общения многих пользователей. В первую очередь эти изменения связаны с массовым переходом к использованию социальных сетей, ключевым принципом которых стала репрезентация своего офф-лайн Я, а не изобретение виртуальной личности, являющейся представителем часто анонимного пользователя⁹, как было популярно на более ранних этапах использования технологий. Если ключевой метафорой рунета эпохи веб 1.0 можно назвать метафору маскарада (со всеми вытекающими отсюда отсылками к идее карнавальности культуры М. Бахтина¹⁰), то интернет конца 2000 – 2010-х с вескими основаниями можно охарактеризовать как культуру *selfie* – не только благодаря необычайной популярности такого рода фотографий, но и в силу общей тенденции сфокусированности пользовательского внимания не столько на генерировании нового контента, сколько на описании и демонстрации собственного облика и фиксации практик повседневного потребления.

Интересной особенностью словоупотребления, которая приводит к фактическому переосмыслению самой идеи статуса сегодня, стал факт того, что слово «статус» часто выступает как уже заданная пользователю графа для заполнения. Различные популярные социальные сети, такие как ВКонтакте и Facebook, задают пользователю специальные поля, требующие заполнения статуса, нередко предлагая ему подсказки или варианты версий заполнения этой

графы. В верхней части пользовательской страницы предлагается указать статус, при этом Facebook задает подсказку «*о чем Вы думаете?*», ВКонтакте предлагает просто изменить статус, попутно предлагая встроить в него играющую в данный момент музыку. Оба варианта как бы провоцируют пользователя на внесение каких-то изменений в свою страницу, обновление контента и приведение его в соответствие с собственными сиюминутными переживаниями или ощущениями. Такая постановка в корне отличается от традиционного понимания идеи статуса, где положение близко по значению таким понятиям, как репутация, образ, бренд. Обнаруживается существенное расхождение традиционного и нового понимания статуса – если традиционно статус связывался с неким стабильным поступательным движением, в котором каждая новая позиция символического достижения должна быть подкреплена каким-то внешним фактором, понятным остальным членам группы, то сегодня слово, оставаясь по-прежнему важным, претерпело трансформацию в одном из главных значений – долгосрочности своего завоевания. Статус достаточно обозначить, задать ему оболочку (словесную, визуальную, звуковую). Правда и сила его воздействия столь же недолговечна. Это уже не репутация, гарантирующая какое-то особое положение и место в иерархии, но просто сиюминутное ощущение индивида, на которое он имеет равное право, как и всякий другой, без необходимости подкрепления неким символическим капиталом.

Можно предположить, что слово статус в данном случае лишь более-менее подходящая калька с английского и не призвана отражать те смыслы, которые вкладываются в русскоязычную версию описания социального статуса. Однако в своей работе, построенной на работе с англоязычным материалом, Элис Мэрвик указывает на схожую проблему, говоря об изменении акцентов репрезентации себя пользователями посредством публикуемой информации на персональных страницах сайтов эпох веб 1.0 и веб 2.0. Автор называет ключевой стратегией публикаций в стиле *lifesteaming*, когда пользователь больше не стремится создать какой-то стабильный неизменный образ себя, но постоянно пытается переопределить его через множество обнаруживаемых мелких повседневных практик. В итоге общий портрет и какие-то важные ключевые черты портрета могут выстроиться у читателя лишь при взаимодействии с достаточно большим объемом информации о субъекте. С одной стороны, это вызвано, видимо, некой потребностью в компенсации недостающих смыслов, а также в осмыслении собственной повседневности самими пользователями, с большим

трудом проводящими границу между важным и спонтанным. Быстро проходящие и малозначительные события собственной жизни фиксируются так же, как и существенные этапы. С другой же стороны, и Мэрвик делает на этом особый акцент, подобные практики тесно связаны с идеей *микровезд*, особым ощущением пользователей, формирующимся благодаря тесному включению в практики медиапотребления, когда собственная повседневность визуализируется теми же доступными инструментами и по тем же сценариям, что и повседневность признанных медиаперсонажей, чьи образы складывают картинку, узнаваемую читателями и зрителями, как образ социальной успешности¹¹.

Однако, безусловно, помимо собственно графы «статус» пользователю социальных сетей предлагается множество других возможностей для репрезентации себя и формирования собственного образа в глазах случайных и ожидаемых читателей (ведь если речь идет об открытой информации, читателем может стать не только лично или опосредованно знакомый человек, но и абсолютно незнакомый пользователю). В этой связи обнаруживается еще одна связка между идеей открытой персональной странички и практиками медиапубличности – и в том, и в другом случае человек должен осознанно принимать факт возможного столкновения с незнакомой аудиторией, настроенной как доброжелательно, так и нет. В процессе генерирования контента создается двойственная ситуация – с одной стороны, практически неограниченные возможности для креативного изобретения собственного образа, с другой – очень четкое ведение по жесткой структурной сетке странички с шаблонными вариантами заполнения. Масса доступных технических и технологических средств и приложений позволяют получать фотографии студийного качества непрофессионалу, ментально подвергнуть их ретуши, наложить эффекты – все это позволяет пользователям минимизировать возможность собственного невыгодного внешнего вида в публикации и получить конвенциональный образ «красивого себя». Вместе с тем конвенции эти оказываются зачастую очень жестко диктуемыми как структурной организацией самих страниц, так и актуальными на данный момент трендами, поддерживаемыми самими пользователями.

Рассмотрим эту ситуацию подробнее. Каждый, кто заводил себе страницу в социальной сети, обнаруживал, что ее архитектура, заданные поля и возможные варианты ответов, которые предлагается выбрать с целью оформления профайла (персональной странички), весьма ограничены и четко структурируют предлагаемые важные и неважные составляющие определения

идентичности. Так, семейный статус оказывается для пользователей сети «ВКонтакте» одной из ключевых категорий, стоящей сразу после имени. Пользователю предлагается выбрать один из восьми возможных вариантов репрезентации (включая графу «не выбрано»), которые демонстрируют различные типы отношений. Читателю как бы намекают на желательность и возможную степень потенциальной коммуникативной активности в отношении субъекта – эти варианты простираются от относительно закрытого «замужем»/«женат», до открытого «в активном поиске», при этом предлагают ряд промежуточных состояний – влюбленности, помолвки, есть вариант «встречаюсь». При этом сама структура страницы и предлагаемых вариантов ответов не предполагает ситуаций, при которых человеку было бы хорошо и комфортно в одиночестве, а все неконвенциональные отношения и сценарии предлагается обобщить фразой «все сложно». Тем самым уже на этапе обозначения такого отдельного фрагмента информации профиля наблюдается скрытое давление на пользователя, которому предлагается воспринимать сам факт состояния в отношениях, во-первых, как определяюще важный (за это отвечает местоположение графы), во-вторых, как постоянный процесс, который в идеале движется к стабильной паре, в противном случае обозначается как проблемный («все сложно»).

Также среди важных факторов, которые предлагается обозначать пользователю, мы видим религиозные и политические взгляды, общественную деятельность, занимаемые посты (само слово «пост» уже отсылает к некоторой необходимой значительности производимой деятельности), отношение к курению и алкоголю. Таким образом, на странице пользователя перекликаются его оффлайн-опыты (работа, образование, служба в армии и т. д.) и сконструированные представления о жизни, уточнить которые помогают графы-подсказки самой системы.

Казалось бы, существенный простор для реализации собственного креативного потенциала определяют возможности публикаций фотографий на странице пользователей. Фотографии на странице можно условно поделить на три разные категории – фотографии, представляющие страницу (аватарки), фотографии, выложенные самим пользователем, фотографии, выложенные другими пользователями, на которых главный герой отмечен как присутствующий. Фото первого типа (аватарки) представляют наибольший интерес для исследования вопросов репрезентации собственного образа и создания своеобразного персонального бренда – ведь именно они адресованы наибольшему числу пользователей – отображаются

в любой ситуации общения, комментирования. Именно фото профиля отображается как главное фото страницы. Поэтому в дальнейшем разговор пойдет именно о фотографиях этого типа. В ходе анализа случайной выборки 200 профайлов пользователей в возрасте от 14 до 35 лет, разного пола, проживающих в разных регионах, нами был выявлен ряд стабильно повторяющихся приемов, с помощью которых пользователи рассказывают о себе и степени личной успешности. Более 60% фотографий профайлов демонстрировали различные типы подчеркивания собственного символического капитала: через пространственную широту жизненного охвата (посмотрите, я успел побывать в далеких и прекрасных странах) – часто эти снимки тесно связаны с идеей «взгляда туриста» британского социолога Джона Урри¹² – герои стремятся запечатлеть себя на фоне максимально широко известных достопримечательностей, вокруг которых образована своя атмосфера, предположительно разделяемая не только пользователем, но и его читателем (например, фото на фоне Эйфелевой башни). Также к символическому капиталу, демонстрируемому на фотографиях, можно отнести опосредованные знаки коммуникативной востребованности и высокой оценки личных или профессиональных качеств – фотографии с букетами цветов, микрофонами на фоне банкетных залов, с подарками или какими-то дорогими предметами. Пользователи обозначают на профайл-фотографиях и важные сцены смены собственных социокультурных ролей – выпускные вечера, вручения дипломов, присяга в армии, свадебные фото и т. д. При этом можно предположить, что чем больший срок прошел с момента создания фотографии до сегодняшнего дня, когда этот снимок все еще выступает главным фото профайла, тем выше степень важности события для субъекта.

Коммуникативным символическим капиталом можно назвать и практики взаимодействия с известными обществу персонами (актерами, музыкантами, спортсменами, политиками и т. д.) с последующей демонстрацией этого знакомства (или просто мимолетного пересечения для создания совместного фото) на странице через демонстрацию общих фото, добавление персоны в друзья (особенно ценно, если отношения «френжения» оказываются взаимными). Существуют и специфические для социальных сетей способы взаимодействия с персоной, предполагающие взаимное наращивание символического капитала статуса – это относительно новое явление получило название «сигны». Идея создания сигны заключается в том, что пользователь, обладающий более высоким статусом (условная «звезда»), делает собственное фото, на котором

держит табличку с именем другого пользователя (условно «почитателя»). Такая фотография, размещенная на странице, призвана поднимать символический статус обоих участников – и того, чье имя оказалось персонально упомянутым известным персонажем, и самого персонажа, подчеркивающего свое статусное превосходство одним фактом наличия поклонников и желающих получить от него такой персональный знак внимания. Кроме того, в практике сигн заложен дополнительный смысл прозрачности границ коммуникаций, где благодаря горизонтальной мобильности участников становится реализуемой идея взаимного взгляда и выражения взаимного уважения.

Обобщая различные аспекты репрезентации собственного социального статуса в практиках сетевого общения, попытаемся выделить специфическую роль медиатехнологий в процессе проговаривания и осознания пользователями такой категории, как статус. С одной стороны, мы видим, что как на лингвистическом, так и на паралингвистическом уровне само слово «статус» и идея репрезентации статусных отношений оказываются для пользователей весьма важными. Эпоха веб 2.0. технологий совершила поворот от анонимного общения в сторону максимально точной репрезентации личности в ее виртуальном воплощении. И помимо открытости креативному потенциалу пользователей, сами системы создания профайлов и ведения страниц в социальных сетях постоянно подталкивают пользователей к артикуляции собственной социальной и культурной идентичности, ее проговариванию, визуализации, а в случае недостаточно четко сформулированной собственной позиции активно способствуют ее достраиванию и соотношению с принятыми актуальными тенденциями визуального и речевого поведения. Кроме того, опыт пользования социальными сетями позволяет пользователям не только достроить или обнародовать собственную позицию (в том числе и статусную), но и сформировать ее путем активного коммуникативного поведения в сетевой среде, когда сам факт высокой интенсивности общения, активного потребления и перенаправления информационных потоков служит основанием для формирования нового социального статуса, близкого профессиональному статусу. К таким примерам относятся статусы «известного блогера», «известного пранкера», героя с миллионными просмотрами и т. д., когда именно активность сетевой коммуникации обуславливает интерес к персоне вне сетевого пространства (например, со стороны традиционных медиа), а значит, влечет за собой переоценку социального статуса героя.

- ¹ В 2015 г. количество пользователей превысило 324 млн по официальным данным сервиса (каталог пользователей): Каталог пользователей ВКонтакте // ВКонтакте [Электронный ресурс]. URL: <http://vk.com/catalog.php>. По данным исследовательской компании SimilarWeb, платформа ВКонтакте является самым популярным ресурсом Рунета: «ВКонтакте» и «Яндекс» вошли в топ-10 самых популярных сайтов в мире // РИА Новости [Электронный ресурс]. URL: <http://ria.ru/world/20150213/1047586986.html> (дата обращения: 17.04.2015).
- ² Исследование проведено в рамках работы по программе «Карамзинские стипендии» (Фонд М. Прохорова) в проекте «Активные процессы в языке и коммуникации» (рук. д-р филол. наук, проф. М.А. Кронгауз, ШАГИ РАНХиГС).
- ³ См.: *Карасик В.И.* Язык социального статуса. М., 2002. С. 6.
- ⁴ *Marwick A.* Status Update – celebrity, publicity and branding in the social media. L., 2013; *Карасик В.И.* Указ. соч.; *Hollingshead A.B.* Four factor index of social status // *Yale Journal of Sociology.* 2011. Vol. 8. P. 21–51; *Brooks D.* The Social Animal: A Story of How Success Happens. N. Y., 2011; *Benoit P.J.* Telling the Success Story: Acclaiming and Disclaiming Discourse. N. Y., 1997.
- ⁵ *Marwick A.* Op. cit.
- ⁶ В данном случае репрезентация понимается в ключе концепции Стюарта Холла, см.: *Hall S.* Representation: cultural representations and signifying practices. L.: SAGE Publications, 2003.
- ⁷ *Ожегов С.Н., Шведова Н.Ю.* Толковый словарь русского языка. М.: Азбуковник, 1997.
- ⁸ Подробнее об особенностях веб 2.0. технологий см. статью: *О’Рейли Т.* Что такое Веб 2.0 // Компьютерра [Электронный ресурс]. URL: <http://old.computerra.ru/think/234100/> (дата обращения: 17.04.2015).
- ⁹ Подробнее о феномене виртуальной личности см.: *Горный Е.* Виртуальная личность как жанр творчества (На материале русского Интернета) // Сетевая словесность [Электронный ресурс]. URL: <http://www.netslova.ru/gornyy/vl.html> (дата обращения: 17.04.2015).
- ¹⁰ *Бахтин М.* Творчество Франсуа Рабле и народная культура средневековья и Ренессанса. М., 1965.
- ¹¹ *Marwick A.* Op. cit.
- ¹² *Урри Дж.* Взгляд туриста и глобализация // «Культурка». Сайт Веры Зверевой [Электронный ресурс]. URL: <http://culturca.narod.ru/Urry10.htm> (дата обращения: 17.04.2015).

Abstracts

D. Antonov

ETHIOPIANS, THE DARK AND LIVID FIENDS: THE DEMONIC ONOMASTICON OF THE OLD RUSSIAN TEXTS

The article is focused on the nominations used in Old Russian (translated and original) literature for demons and for the description of the fallen angels hierarchy. The article demonstrates the variability and multiplicity of such nominations and also the tradition of euphemistic naming the evil spirits as well as nominations, used in magical texts that were written down in the XVII–XVIII centuries.

Key words: Old Russian culture, demonology, booklore.

I. Chirskova

THE POWER AND CULTURE IN RUSSIA IN THE FIRST QUARTER OF THE XVIII: AT THE ORIGINS OF CULTURAL POLICY

The article is concerned with the interrelation between the culture and power in Russia in the first quarter of the XVIII century and with the emergence of “cultural policy” phenomenon. The principal directions of Peter I cultural policy are analysed.

Key words: cultural policy, forced progress, paternalism, secularization of culture, cultural backing, new time paradigm.

S. Davydov, O. Logunova

MOBILE TELEPHONY SERVICES IN RUSSIA'S SOUTHERN VILLAGE

The article analyses specifics of various mobile telephony services usage by the example of Koksovoe village in Rostov region. It considers the developments and distinctions in urban and country styles of communication over the new technologies. Presented data of empirical research conducted in rural settlements of Rostov region became the basis for compiling consumer typology.

Key words: new media, interpersonal communication, mobile telephony, in-depth interview.

S. Eremeeva

AN ATTITUDE TOWARDS THE DEATH AS A SOCIO-CULTURAL MARKER

In the paper we are talking about deep-specific attitude towards death in different cultures. This specificity is reflected not only at the level of rites and practices associated with death, but also affects their study. Analysing studies of obituary texts in English and German, the author notes the distinction of research approaches depending on the belonging to a particular cultural locus. American scientists are often within gender studies and media studies, British researchers focus more on sociolinguistics and collective memory, the researchers from Asia and Africa fit well into the post-colonial paradigm, and German-speaking researchers work in the field of comparative study of cultures.

Key words: obituary, death, death studies, socio-cultural marker.

N. Galushina

SUBCULTURES: DESCRIPTION LANGUAGES IN THE CHANGING SOCIO-CULTURAL CONTEXTS

The present article tracks the shift in analytical language of subculture studies within the context of social transformation and development from modern to postmodern era. The three successive approaches to definition of subculture (as deviation, as resistance, as consumption) are distinguished and compared. This shift is considered as a consequence of significant socio-cultural transformations – the erosion of class structure and weakening of homogenous mass culture hegemony.

Key words: subculture, post-subculture, modern, postmodern, class, deviation, resistance, consumption style.

I. Kondakov

CULTURAL HERITAGE: ACTUAL AND IMAGINARY

The article studies a content of complex historical concept “cultural heritage”. The cultural heritage is considered from theoretical perspective as an architectonic of various meaning elements: actual, potential, “dwindling” heritage and heritage “archive”.

Key words: cultural heritage, actual heritage, potential heritage, “dwindling” heritage, heritage “archive”, depth of cultural heritage.

V. Merzlyakova

THE REPRESENTATION OF SOCIAL NETWORKS’ USERS STATUS – THE LANGUAGE, EXPERIENCE, STRATEGY

The article is dedicated to the analysis of a category “status” and its explicit and implicit representation in common practices among Russian social media users as well as to the description of demanded strategies of its visual and verbal representation.

Key words: social status, social media, hierarchy, life-styles, micro-celebrities.

E. Nesterova

BENSHI: SILENT MOVIE SPEAKING STARS

The article highlights the phenomena of benshi – narrator in early Japanese cinematograph. Special attention is paid to Japanese silent movies show peculiarities.

Key words: cinematograph, benshi, katsuben, setsumei, Japan, silent movie.

B. Reifman

THE RELATIONSHIP BETWEEN THE VISUAL UNCONSCIOUS AND THE WORLD-BUILDING STRUCTURES OF MEANING AS A CONCEPT IN DEVELOPMENT

The article analyses the concept of “structure of visions” presented in the book by Jonathan Krary “Techniques of the observer. On vision and modernity in the XIX century” and puts forward a specific version

of the evolution in the understanding of the power over the visual unconscious. We are talking about ideas of Béla Balázs, Sergey Eisenstein, Walter Benjamin, Gilles Deleuze and about authentic sense of the notion “auteur cinematography”.

Key words: visual unconscious, vision structure, modernity, cultural dynamics, auteur cinematography.

S. Savitsky

A TRANSFORMATION OF THE TSARSKOE SELO'S PARK INTO THE CULTURE AND RECREATION PARK IN 1930s

This paper describes an essential episode in the history of Russian parks and gardens that is a transformation of the Tsarskoe Selo's park into the new Soviet public space (the so-called park of culture and leisure) formed during the period of the cultural revolution. The reconstruction and the analysis of the circumstances and the mechanisms of this Sovietisation of the English landscape garden are based on the archive materials, as well as on the periodicals of the early Soviet era.

Key words: parks and gardens, intellectual history of Soviet culture, Detskoe Selo, cultural revolution.

G. Shmatova

AN ACTIVATION OF THE SPECTATOR IN CONTEMPORARY THEATRE: SEMIOTIC AND PERFORMATIVE ASPECTS

Studies of modern theatre pay special attention to the description of how activate the spectator as an acting subject and as a co-creator. In this context, theorists are interested primarily in the performative aspect, related to the corporeality of actors and the audience, and to the changes of theatrical communication conditions. This article focuses on the formation of meaning as the complex process that promotes spectator involvement and, in particular, on how “open” theatre works construct spectator activity. At the same time semiotic and performative aspects of the stage play are not opposed to the hard-line stance. As an example the play “Staircase” of the theatre “Near the house of Stanislavsky” is selected.

Key words: postdramatic theatre, performative turn, theatrical communication, spectator, subject, perception, formation of meaning.

A. Stogova

A POLITICIAN AS A FRIEND: THE CONSTRUCTION
OF POLITICAL DISCOURSES IN BRITAIN
OF THE XVII CENTURY

The article concerns with transformations in political sphere during early Modern times and related thereto need for the construction of new political discourses. Author analyses the concept of the “friend” and considers the transformations of friendly discourses in the papers of the English Parliament of the XVII century through which the formation of a new political order and the construction of relevant political discourses can be traced.

Key words: friendship, friend, enemy, political, discourse, policy subject, English Parliament, English Revolution.

Сведения об авторах

Антонов Дмитрий Игоревич – кандидат филологических наук, доцент кафедры истории и теории культуры Отделения социокультурных исследований РГГУ, antonov-dmitriy@list.ru

Галушина Наталья Сергеевна – кандидат культурологии, доцент кафедры истории и теории культуры Отделения социокультурных исследований РГГУ, galushiny@yandex.ru

Давыдов Сергей Геннадьевич – кандидат философских наук, доцент Школы медиакоммуникаций Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики», sdavydov@hse.ru

Еремеева Светлана Анатольевна – кандидат культурологии, доцент кафедры истории и теории культуры Отделения социокультурных исследований РГГУ, u5020@yandex.ru

Кондаков Игорь Вадимович – доктор философских наук, профессор кафедры истории и теории культуры Отделения социокультурных исследований РГГУ, ikond@mail.ru

Логунова Ольга Сергеевна – кандидат социологических наук, доцент Школы социологии Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики», ologunova@hse.ru

Мерзлякова Виктория Николаевна – кандидат культурологии, доцент кафедры истории и теории культуры Отделения социокультурных исследований РГГУ, victpria.rij@icloud.com

Нестерова Елена Ивановна – кандидат исторических наук, доцент кафедры истории и теории культуры Отделения социокультурных исследований РГГУ, blb1@mail.ru

Рейфман Борис Викторович – кандидат культурологии, доцент кафедры истории и теории культуры Отделения социокультурных исследований РГГУ, brejfman@yandex.ru

Савицкий Станислав Анатольевич – кандидат искусствоведения, доцент факультета свободных искусств и наук Санкт-Петербургского государственного университета, stassavitski@yahoo.com

Стогова Анна Вячеславовна – кандидат исторических наук, доцент кафедры истории и теории культуры Отделения социокультурных исследований РГГУ, anna100gova@yandex.ru

Чирскова Ирина Михайловна – старший преподаватель кафедры истории и теории культуры Отделения социокультурных исследований РГГУ, irina.chirskov@yandex.ru

Шматова Галина Андреевна – старший преподаватель кафедры истории и теории культуры Отделения социокультурных исследований РГГУ, galinochka04304@rambler.ru

General data about the authors

Antonov Dmitriy I. – Ph.D. in Philology, associate professor, Department of History and Theory of Culture, Division of Socio-Cultural Studies, Russian State University for the Humanities, antonov-dmitriy@list.ru

Chirskova Irina M. – senior lecturer, Department of History and Theory of Culture, Division of Socio-Cultural Studies, Russian State University for the Humanities, irina.chirskov@yandex.ru

Davydov Sergey G. – Ph.D. in Philosophy, associate professor, School of Media, Higher School of Economics – National Research University, sdavydov@hse.ru

Eremeeva Svetlana A. – Ph.D. in Culturology, associate professor, Department of History and Theory of Culture, Division of Socio-Cultural Studies, Russian State University for the Humanities, u5020@yandex.ru

Galushina Natalya S. – Ph.D. in Culturology, associate professor, Department of History and Theory of Culture, Division of Socio-Cultural Studies, Russian State University for the Humanities, galushiny@yandex.ru

Kondakov Igor V. – Dr. in Philosophy, professor, Department of History and Theory of Culture, Division of Socio-Cultural Studies, Russian State University for the Humanities, ikond@mail.ru

Logunova Olga S. – Ph.D. in Sociology, associate professor, School of Sociology, Higher School of Economics – National Research University, ologunova@hse.ru

Merzlyakova Victoria N. – Ph.D. in Culturology, associate professor, Department of History and Theory of Culture, Division of Socio-Cultural Studies, Russian State University for the Humanities, victpria.rij@icloud.com

Nesterova Elena I. – Ph.D. in History, associate professor, Department of History and Theory of Culture, Division of Socio-Cultural Studies, Russian State University for the Humanities, blb1@mail.ru

Reifman Boris V. – Ph.D. in Culturology, associate professor, Department of History and Theory of Culture, Division of Socio-Cultural Studies, Russian State University for the Humanities, brejfman@yandex.ru

Savitsky Stanislav A. – Ph.D. in Art History, associate professor, Faculty of Liberal Arts and Sciences, Saint Petersburg State University, stassavitski@yahoo.com

Shmatova Galina A. – senior lecturer, Department of History and Theory of Culture, Division of Socio-Cultural Studies, Russian State University for the Humanities, galinochka04304@rambler.ru

Stogova Anna V. – Ph.D. in History, associate professor, Department of History and Theory of Culture, Division of Socio-Cultural Studies, Russian State University for the Humanities, anna100gova@yandex.ru

Художник *В.В. Сурков*

Художник номера *В.Н. Хотеев*

Корректор *Т.В. Рютина*

Компьютерная верстка *Н.В. Москвина*

Подписано в печать 18.01.2016.

Формат 60×90¹/₁₆

Усл. печ. л. 10,5. Уч.-изд. л. 11,0.

Тираж 1050 экз. Заказ № 32

Издательский центр
Российского государственного
гуманитарного университета
125993, Москва, Миусская пл., 6

www.rggu.ru

www.knigirggu.ru

Журнал «Вестник РГГУ»
Серия «История. Филология.
Культурология. Востоковедение»
выходит 12 раз в год

Подписка принимается всеми отделениями связи
без ограничений.

Наш индекс в каталоге «Газеты. Журналы»
ОАО Агентства «Роспечать» – 70969.

Не забудьте своевременно подписаться
на наш журнал!
